



## СЕРДЦЕ НЕ КАМЕНЬ

В истории болезни, а потом и в специальном научном труде будет написано, что пациент служил на броненосце судовым механиком, что он среднего роста, правильного телосложения... В 1919 году болел малярией в тяжелой форме и сыпным тифом. Будет особо отмечено, что он «раньше употреблял огромное количество алкоголя, но теперь пьет сравнительно мало, опасаясь вызвать приступы сердечной боли».

Пациент называл и точную дату, когда начались приступы: конец апреля тысяча девятьсот пятнадцатого года. Судовому механику Саркису Григоряну было тогда тридцать лет. Он, едва переводя дыхание от ужаса, ходил в морской форме, шатаясь по улицам Константинополя, хватался за стены, чтобы не грохнуться на мостовую. На нешироких улицах древнего города лежали обезображенные трупы людей. Это были армяне. Женщины. Старики. Дети. Вернувшись на судно, Саркис Григорян нашел спирт и напился. С тех пор он мог спать лишь тогда, когда напивался. Собственно, долго он и не мог находиться в трезвом состоянии. Сначала перед глазами вставали кошмары. Потом появлялась сердечная боль. Потом — обморок. Так длилось до 1925 года. Десять лет жил человек с уже мертвой душой. Лишь боли в сердце давали иногда знать, что живо и тело. В ноябре 1925 года Саркис взял в руки револьвер. Это был для него единственный выход...

В истории болезни после напишут: «В области сердца на 3 см внутри от левой сосковой линии, в пятом межреберном промежутке находится рубцовое образование величиной с двадцатикопеечную монету — входное отверстие пули...»

Казалось, измученное болью и страданием сердце держалось на волоске, который в любой момент мог оборваться. Но оно билось в груди даже после того, как пуля попала в него. Два года билось сердце, отяжелевшее на девять граммов свинца. Все это время Григорян находился на краю гибели. И вот он сидит в кабине врача, едва шевеля синюшными губами. Каждый удар пульса отдает в голову, в каждую клетку. Отдает невероятной болью.

- Из какого револьвера стрелял? — спросил врач.
- Турецкий браунинг, — едва слышно сказал больной.
- Что, мало армян убивали? А тут еще находится такой, который стреляет сам в себя.
- Тогда мне все было безразлично, Арутюн Григорьевич, — довольно бодро ответил пациент, который, казалось, впервые задумался над этим. — Вы можете вернуть меня к жизни?
- Нужна операция.
- Понимаю.
- Операция на сердце. — И Арутюн Григорьевич в который уже раз стал рассматривать рентгеновский снимок.

\* \* \*

Фотокопия этого снимка лежит сейчас на моем столе. На нем написано: «Григорян Саркис. 569. Март 1927 года». Слева в области сердца по левому краю его видны два металлических тела. Верхнее, поменьше, в области четвертого реберного хряща, а нижнее — в области пятого реберного хряща — сама пуля.

Седьмого апреля 1927 года Арутюн Григорьевич Мирза-Авакян поздно вечером вышел из хирургической пропедевтической клиники. Перешел улицу и направился к кафе «Турист». Он надеялся найти там своих друзей Чаренца, Ачаряна, Авдалбекияна и Габриеляна. Но в этот вечер там их не было. Как на зло. Не было даже самого близкого друга Ачаряна, с которым накануне договорились о встрече в кафе вечерком. Такое редко бывало. Но надо же, чтобы так произошло именно в этот вечер. Именно тогда, когда Мирза-Авакян нуждался в обществе близких по духу людей. Перепрыгивая через многочисленные лужи, которые так часто встречались на тогдашних ереванских улицах, он побрел сам не зная куда, вдыхая сырой апрельский воздух. Хирург в тот вечер остался наедине со своими мыслями. Порой ему казалось, что они обретают осязаемую плоть и он слышит свой внутренний голос.

«Завтра я встречу с живым сердцем. Я буду держать в руке трепыхающийся маленький двигатель. Все врачи во все времена мечтали об этом. В XVI веке в мышце сердца убитой на охоте козули найдена старая пуля. И рана зарубцевалась давным-давно. Это было невероятно. Еще со времен Гиппократ и Галена врачи говорили слова, которые мы и сегодня произносим: «Человек выдержит недуг, если выдержит сердце». То есть вся надежда на сердце. А тут ранено оно само...»

Тогда же, триста лет назад, французский медик П. Парен написал статью, в которой рассказал о ране, зарубцевавшейся в сердце человека. Но это были эпизоды, которые трудно было объяснить. Всего лишь эпизоды. В 1905 году П. А. Герцен, внук выдающегося революционера-демократа, первым в России попытался наложить шов на сердце. Попытка кончилась трагически для больного. Операции повторялись, но исход был почти всегда один и тот же — смерть. Бывали и удачи. Но это единицы. На них нельзя ссылаться как на опыт. Они не позволяют делать обобщения. Они не учат. Но они словно свет в конце черного как ночь тоннеля. Они как надежда! «Но не успокаиваю ли я себя? Не обманываю ли? Не потеряю ли я завтра чести врача, чести человека? Меня будто преследуют слова великого Бильрота: “Тот, кто посмеет дотронуться рукой и скальпелем до сердца, тот должен примириться с мыслью, что потеряет честь и уважение коллег”. Завтра на чашу весов я ставлю свою честь. На другую — жизнь человека, перенесшего неимоверные страдания. Может, он и не доживет до операции...»

Мысль о том, что пациент может не дожить до утра, до операции, пронзила сознание доктора. И он побежал по вечернему Еревану. Ворвался в клинику, приведя в замешательство вахтера и дежурную службу. Предчувствие не обмануло его. Пациент был без сознания: очередной приступ, и он впал в забытие. Пульс — сто тридцать два удара в минуту. Больной накануне жаловался на головную боль и боли в сердце, на тошноту. Дыхание шумное, зрачки умеренно расширены и реагируют на свет. Напряжение и наполнение пульса незначительные. Сердцебиение слабое, частое. Судороги то усиливаются, то ослабевают. Три часа длилось такое состояние. Состояние, когда смерть могла наступить в любую минуту. Наконец больной пришел в себя. Очень слаб, на вопросы не отвечает.

Мирза-Авакян держал холодеющую руку больного и вслух отдавал команды коллегам. Неожиданно он громко произнес:

— Надо держаться! Ты слышишь, Саркис?

На восковом лице больного появилось подобие улыбки.

— Все теперь зависит от тебя, — продолжал Арутюн Григорьевич. — Только от тебя. Надо держаться. Надо победить врага. **Но прежде — преодолеть себя.**

Больной вновь слабо улыбнулся, тщетно пытаясь открыть глаза.

Арутюн Григорьевич встал и медленно вышел из палаты. Сбросив с себя халат, он передал его первой попавшейся санитарке и выскочил на улицу.

«Мне, наверно, первому из врачей суждено произнести слова, которые в будущем станут обычными. Если во все века говорили: “Выдержит ли сердце?” — то теперь нужно спросить: “Выдержит ли душа?” Оказывается, есть в человеке такое, что поважнее сердца. Душа. Философы гадают. Они не могут описать ее. Вон там, на втором этаже клиники, лежит мой соотечественник Саркис Григорян. Человек без тела и сердца. Нет человека. Но есть человек! Комок души! Комок жизни! Тысячи операций я сделал. Сколько больных и раненых прошли через мои руки! Все они разные. И похожи, похожи желанием выжить. А тут человек, который с 1915 года, вот уже двенадцать лет, тысячу раз умирал. Смерть не брала, так он сам помогал ей. И все равно душа не сдавалась. Словно и она хотела, чтобы жил человек, чтобы жила память о погибших... Всю жизнь я готовил себя к завтрашнему дню. Завтра — мой звездный час. Я долго шел к нему. С 1908 года, когда торжественно дал клятву Гиппократу по окончании медицинского факультета Киевского университета. Шесть лет я был ординатором киевской больницы «для чернорабочих». Оперировал под руководством известного хирурга Пивовонского... Интересно, где он сейчас? Пути-дороги мировой войны разбросали нас в разные стороны. В те далекие годы врачей награждали специальными жетонами. И награждали сами врачи, коллеги. Первый свой жетон я получил в начале четырнадцатого. Тогда исполнилось пять лет моей хирургической деятельности. И к тому времени мною было произведено более двух тысяч крупных операций. Впоследствии получил еще два жетона. Если бы сегодняшние мои молодые коллеги знали им цену! Это как Георгиевский крест, который давался за мужество и героизм. Мужество. А теперь я весь дрожу. Я иду на операцию, словно в бой. В неравный бой. Говорят, идут эксперименты на сердце собаки. Это, конечно, хорошо. Но там здоровое сердце здоровой собаки. А тут сердце и боль, боль, которую ничем не измерить...»

\* \* \*

Хирург подошел к своему дому уже в середине ночи. Бесшумно, чтобы не разбудить домочадцев, он пробрался на цыпочках к своему письменному столу, заваленному книгами, и, не снимая плаща, плюхнулся в кресло. Сил уже не было добраться до постели. Рука машинально дотянулась до стола. У самого края лежала открытая книга. Хирург взял ее и положил себе на колени. Читать не хотелось. Он знал, что написано на

открытой странице. Вот уже несколько дней штудировал эту книгу. Его преследовали несколько дней слова известного хирурга: «Предсказание при инородных телах в сердце, само собою понятно, не может быть хорошим». Арутюн Григорьевич перевел взгляд на открытую страницу и прочитал вслух подчеркнутые строки: «Хотя инородные тела, как мы видели, могут много лет оставаться в сумке и в сердце, не вызывая каких-либо болезненных расстройств, тем не менее в большинстве случаев предсказание при них очень дурно». Так писал приват-доцент Н. И. Напалков еще в 1902 году.

«Голова идет кругом, — рассуждал Мирза-Авакян, закрывая книгу Напалкова, — одно лишь я знаю твердо: не оперировать — нельзя. Groш цена всей моей медицине, всей мировой медицине, если мы будем разводить руками, видя, как мучается живой человек. Легче все валить на Бога, тем более Бог здесь ни при чем. Верно сказано у поэта: “Нам Бог дал все, но отнял человек — он с ятаганом”. Скальпель и... ятаган. Если завтра Саркис останется жив, значит, скальпель победит ятаган. И пусть об этом знает мир. Ведь не пуля из турецкого браунинга, а ятаган причина боли у Саркиса. Завтра... — Мирза-Авакян посмотрел на часы... — Не завтра, а сегодня...» До операции осталось пять часов.

Восьмое апреля 1927 года. Десять часов утра. Операционная клиника хирургической пропедевтики. Каталог не было тогда. Больного перенесли в операционную на носилках.

— Как себя чувствуешь, Саркис? — спросил Мирза-Авакян, вытирая руки тампонами, намоченными в спирте.

— Если скажу — хорошо, вы не поверите, Арутюн Григорьевич.

— Почему не поверю? Поверю... Наркоз, — сказал хирург, обращаясь к присутствующим врачам, и повернулся к больному: — Значит, хорошо, говоришь, чувствуешь себя?

— Да как вам сказать... Утром сделали укол, и я куда-то... я как-то перестал самого себя чувствовать.

— Через двадцать минут ты заснешь, и мы извлечем из тебя проклятую. Так что давай поговорим-ка эти двадцать минут. — Арутюн Григорьевич густо мазал грудь больного бензином.

— Бензином пахнет, — сказал Саркис.

— Заправляем тебя, как машину.

— Сколько времени будет длиться операция? — спросил больной, засыпая.

— Скоро все кончится. Ты только держись, Саркис.

— Я постараюсь. Как вы сказали мне, постараюсь назло врагу.

— Вот именно.

— Назло врагу, — тихо повторил Саркис и добавил: — Арутюн Григорьевич, надеюсь, сделаете, как договорились?

— Как договорились.

— Он это о чем? — спросил присутствующий в операционной заведующий терапевтической клиникой медицинского факультета Ереванского университета Левон Оганесян.

— Мы с Саркисом договорились, что я не буду ему делать резекцию по Грекову.

— Откуда он знает об этом?

— Я ему нарисовал всю... весь ход операции, и он категорически отверг Грекова, — смеясь сказал Мирза-Авакян.

— Почему? — спросил Оганесян.

— По Грекову он лишится нескольких ребер. А Саркису очень дороги его ребра. Он говорит, из них можно женщин сотворить, как это сделал Адам.

В операционной негромко смеялись.

— Назло... вра-гуу-у, — едва шевеля губами, сказал Саркис и впал в забытье...

\* \* \*

Передо мной шаг за шагом проходит редкостная операция на сердце. Читаю историю болезни: «Разрез проведен по Фонтену влево по второму межреберному промежутку... Во время отслоения плевры рассечены ножки треугольной мышцы, и таким образом обнажен перикард. Ясно видны сердечные сокращения. Под перикардом, приблизительно в области пятого реберного хряща, прощупывается твердый предмет, который движется синхронно с сердечными сокращениями. Перикард вскрыт, и обнаружена соединительная ткань, капсула, образованная из перикарда и заходящая в мышечную стенку сердца. Сама пуля, окруженная многочисленными спайками, сидит в полости капсулы. Откуда она и была извлечена с помощью торсионного пинцета... Пуля размером около 1,5 см длиной и 1 см в диаметре. У кончика несколько деформирована. Покрыта незначительными известковыми отложениями... Второе инородное тело, ввиду незначительности своего размера и расположения вне сердечной мышцы, решено не извлекать...»

Я читаю эти строки, написанные рукой Мирза-Авакяна, и волнуюсь. Мне кажется, что я присутствовал на той, ставшей

теперь легендарной операции. Я читаю и думаю о самой природе сердца. О могучем запасе прочности этого относительно небольшого органа. Дальше Мирза-Авакян пишет: «При попытке передвигать вышеназванную соединительно-тканную капсулу по поверхности сердца она оказывает сопротивление и тянет сердечную мышцу. Кроме того, под перикардом ощупыванием обнаружены обширные спайки, окружающие всю переднюю поверхность сердца...» Вот так: казалось, и самой жизни не осталось в убитом, истерзанном сердце, замурованном спайками, и вдруг оно бьется. Пусть каждый удар пульса отдаётся болью в груди, но зато бьется сердце. Назло врагу бьется сердце.

Строчки в истории болезни, короткие словно пульс: «Два шва на перикард. Третье ребро лоскута никак не удалось расположить точно на своем месте. Оно вовсе удалено». Все-таки Саркис, как он ни просил оставить его со всеми ребрами, лишился одного... «Два маленьких тампона у наружного основания лоскута. Повязка. Операция длилась один час двадцать минут. Общее состояние больного удовлетворительное...»

Арутюн Григорьевич выпрямился. Стал медленно стаскивать с рук прилипшие к ним резиновые перчатки, испачканные кровью. Снял с лица маску и чепчик разом, как снимают с головы противогаз. Белые как снег волосы. Густые черные брови, пышные усы и борода с проседью, большие темные усталые глаза резко подчеркивали бледность лица. Он подошел к больному. Приоткрыл веко. Убедившись, что зрачок реагирует на свет, улыбнулся. Медленно зашагал к двери.

\* \* \*

Арутюн Григорьевич стоял у окна ординаторской и смотрел на перекресток, на редкие автомобили, прохожих, грохочущие по мостовой фаэтоны, запряженные тощими лошадьми. Все кругом словно окрашено в серый цвет. И этот апрельский день тоже выдался хмурым, серым. И на душе было тоскливо. Неожиданно хирург прищурил глаза. К кафе «Турист» приближался человек в шляпе и длинном плаще. «Ачарян, — тихо произнес Арутюн Григорьевич. — Интересно, чем он занимался целых два дня? Два дня я не видел его. Говорил, что привезли какой-то журнал из Турции. Там написано про языковые реформы...»

— Арутюн Григорьевич, — раздался в дверях голос медицинской сестры, — больной проснулся.

Мирза-Авакян не спеша вышел из кабинета. Он шел по коридору тоже не спеша. Понимал, что сильно волнуется, но не хотел, чтобы волнение передавалось и другим. Он шел по узкому коридору к палате Саркиса Григоряна и ловил себя на мысли, что его словно преследует великий Бильрот с его формулой-предупреждением: «Тот, кто посмеет дотронуться рукой и скальпелем до сердца, тот должен примириться с мыслью, что потеряет честь и уважение коллег». И перед тем как открыть дверь, хирург посмотрел на свои руки. Он ими недавно дотронулся до живого сердца. Потеряет ли он честь и уважение коллег — зависит от самого сердца. Сердца, которое сохранит жизнь пациента и честь хирурга.

Саркис лежал на высоких подушках. Лицо его было землистого цвета. Худое. С торчащими скулами. Именно такое лицо однажды описал великий Гиппократ, и получило оно название «Гиппократово лицо» или «лицо Гиппократа». Мирза-Авакян сел рядом с больным. Врачи и сестры обступили их.

— Ну как? — спросил хирург.

Больной молчал. Из-под отяжелевших век он смотрел на хирурга и молчал. Неожиданно все заметили, что в его глазах появился свет. Обратили внимание и на то, что зашевелились губы. Больной что-то говорил, но ничего не было слышно.

— Держись, Саркис! Держись! — Мирза-Авакян считал пульс больного.

— Да! — шепотом сказал Саркис.

Врачи и сестры повторили это короткое «да».

— Да, — сказал Мирза-Авакян.

— Назло врагу, — довольно громко выговорил больной и улыбнулся.

\* \* \*

Кафе «Турист». Подвальное помещение. Массивные деревянные столы. Входящему на первых порах ничего не видно. Густой табачный дым ползет над столами. Терпкий запах кофе. Арутюн Григорьевич, войдя в зал, не стал даже оглядываться. Он хорошо знал, что за столом, стоящим в углу, обычно сидят его друзья. Кто-то прозвал этот стол «губернаторской ложей», которую никто в театре, кроме губернатора, не занимал.

За столом сидел человек в шляпе. Плаща на нем не было.

— Ты что это, Рачья, в головном уборе сидишь? — спросил Мирза-Авакян, присаживаясь рядом.



— Ненавижу апрель. Сырость. Мерзну даже у печки. Кофе будешь? — спросил Рачья Ачарян.

— И коньяк тоже. И ты со мной выпьешь.

— Ты ли это?! Всегда же отказываешься. Придумал себе спасительную отговорку: «Мне на операцию».

— Теперь я могу сказать: «Я с операции».

— В такую-то рань.

— Полдень уже. Увидел тебя в окно, и потянуло меня сюда. Хочешь, честно скажу, почему я в это время здесь?

— Пришел, наверно, сообщить, что задумал какую-то монографию.

— Нет. К черту монографии! Пусть их пишут другие. Я хвастаться пришел.

— Ты ли это?!

— Да что ты заладил одно и то же? Я, конечно, я. Перед тобой Мирза-Авакян, лауреат трех почетных жетонов, учрежденных для врачей.

— Да что это с тобой? Я сейчас опять воскликну: «Ты ли это?!» Ты, который не терпит, когда тост произносят в твою честь. Хотя тосты не нами придуманы и произносят не из лести, а от...

— От желания самоутвердиться. А знаешь, я сегодня тоже самоутвердился. Я держал в руках живое сердце. Оно трепыхалось как рыба, попавшая в сеть.

— Живое сердце? — спросил Рачья Ачарян.

— Да, живое. Помнишь, я тебе рассказывал про несчастного моряка, который хотел застрелиться...

— Это тот, который видел своими глазами апрель пятнадцатого в Константинополе?

— Да, тот самый. Час назад я удалил из его сердца пулю.

Официант принес бутылку коньяка, лаваш, сыр и несколько стручков соленого перца. Ачарян стал разливать коньяк в стаканы.

— Ну как тут не произнести тост! — сказал Ачарян, подняв стакан. — Я, конечно, мало что смыслю в твоей медицине. Но нутром чувствую, что час назад здесь, неподалеку от нашего «Туриста», совершилось какое-то чудо. Все-таки сердце, а не колено. За тебя, Арутюн. За твои золотые руки...

— Да что там руки! Рук своих я не ощущал. Я вообще ничего не чувствовал. Лишь пулю, когда извлек ее из капсулы... Вот она. — Мирза-Авакян вытащил из кармана завернутый в марлевый тампон кусочек металла.

Ачарян поставил стакан на стол и осторожно взял пулю.

— Тяжелая какая.

— Девять граммов. Правда сомневаюсь, хотя мне так говорили.

— И эти девять граммов убивают человека.

— Не всегда, как видишь. Случается, сердце оказывается сильнее. Знаешь, больной перед операцией сказал, что выживет назло врагу.

— Поздравляю тебя, Арутюн, — сказал Ачарян, возвращая пулю, — пью за тебя. Наверное, все великое делается вот так — просто и обыденно. В такой хмурый день, как этот. И за больного твоего! Это хорошо, что он жить хочет назло врагу. Я тут журнал получил...

— Я знаю об этом. А что там есть?

— В нем пишут о том, что год назад в Турции решено провести так называемую языковую реформу. Повсеместно идет радикальное наступление на персидские, арабские и армянские слова. Это их дело. Люди хотят решить свои проблемы. Ведь в современном турецком языке всего тридцать восемь процентов так называемых чисто тюркских слов.

— Выходит, реформа им нужна.

— Реформа нужна. Но, насколько я сужу, это не просто языковая реформа. Это очередная пропаганда, которая дает возможность открыто воспеть уже не известный пантюркизм, а пантуранизм.

— А это еще что такое? Не хватает им панисламизма и пантюркизма. Теперь еще один «пан». Скажи, Рачик, зачем все это нужно придумывать? Что это им дает?

— Очень многое. Когда захватываешь чужую родину и объявляешь ее своей, то нужны оправдательные «теории», по которым присвоенное узаконивается.

— Ты видишь в этих теориях какую-то серьезную опасность?

— Да, особенно для будущего.

В кафе вошел худощавый, высокого роста человек. Остановился у дверей на мгновение. С кем-то поздоровался и спешно подошел к «губернаторскому столику».

— Что это в такую рань? — перебил он беседующих.

— А, это ты, Тадевос... — сказал Ачарян. — Да вот, празднуем победу.

— Чью?

— Да ты садись, — предложил Мирза-Авакян.

— И все-таки чью победу празднуете в такую рань? — спросил Тадевос Авдалбекян, присаживаясь.

- Сегодня утром наш Арутюн совершил подвиг...
- Да будет тебе, — смутился Мирза-Авакян.
- Нет, ей-богу. Он держал в руках живое сердце...
- Пока я вижу, что он держит в руках стакан, — сказал Тадевос. — Объясните толком, что произошло...
- Вот я тебе и объясняю. Он сделал операцию и удалил из сердца пулю.
- Постой-постой! Это не тот ли больной, который стрелялся из турецкого браунинга?
- Тот самый, — подтвердил Мирза-Авакян.
- Ну и как?
- Да вроде пока, тьфу-тьфу, все в порядке.
- Подошел официант.
- Бутылку коньяку, — сказал Тадевос.
- Да ты что? — довольно громко сказал Мирза-Авакян. — Вот уже стоит бутылка. Почти целая.
- Початая, — значит, не целая. А тут такое дело. Живое сердце...
- Теперь пойдет. Заладили: живое сердце...
- А как ты думал, — вставил Ачарян, — шутка ли держать в руке живое сердце! Или, может, у вас в медицине такое встречается каждый день?
- Да нет. Но, уверен, придет время — и такое будет каждый день. И не где-нибудь, а здесь, в Ереване.
- Не понял, — улыбнулся Тадевос, разливая коньяк по стаканам. — Что, каждый день в Ереване будут стреляться?
- Ну почему стреляться... Ежегодно сотни людей, особенно маленьких детей, умирают только потому, что медицина беспомощна. Пока мы не можем оперировать пороки сердца.
- Не знаю, что будет потом, — сказал Ачарян, — может, и впрямь врачи будут ежедневно держать в руках живое сердце. Но думаю, и тогда, и всегда это будет чудом. Давай-ка еще выпьем за твоего больного!
- Как его зовут? — спросил Авдалбекян.
- Саркис. Саркис Григорян.
- Как звучит! Саркис Григорян, — сказал Тадевос и осушил стакан до дна.
- Что-то тебя, как я погляжу, жажда мучает, — заметил Ачарян.
- Мучает, Рачья, мучает, — ответил Тадевос, вытирая губы платком.

— Что-нибудь случилось? — спросил Мирза-Авакян.

— Читаю я сегодня лекцию по экономике. Все идет нормально. Излагаю свой же труд «Заработная плата армянского шинакана и крестьянина в V веке». Потом, проводя параллель с XIX веком, я перешел на Турецкую Армению. И вот тут-то и началось. С места встает студент. Невзрачный такой, худенький. Рубаха вся в заплатках. И вдруг этот, на первый взгляд тщедушный мальчик превратился во льва. «Вы, — говорит, — Тадевос Айрапетович, почему говорите “Турецкая Армения”?» Я опешил.

— И что же дальше? — спросил Ачарян.

— Я спасовал, я, автор многих лексикографических и терминологических исследований. Ведь, по существу, парень прав. В самом деле дико звучит. Если «Турецкая Армения», то, по логике вещей, узаконивается и другое словосочетание — «турецкий армянин». А это и в самом деле кошунство.

— Все это ясно, — нетерпеливо проговорил Ачарян, — а что ты ответил студенту.

— Я сказал ему: «А вы знаете, молодой человек, я с вами согласен. Вы правы. Обещаю никогда больше так не говорить»...

— И что? — спросил Мирза-Авакян.

— И ничего, аплодировали. А парень этот зарделся. Потом подходит ко мне. Извиняется. Обращается ко мне то «товарищ Авдалбекян», то «Тадевос Айрапетович». Говорит: может, нужно было об этом мне одному сказать. Не при всех. Я его успокаиваю. Конечно при всех лучше. Да и в историческом плане верно.

Дверь кафе резко открылась. В помещение ворвалась молодая девушка в телогрейке, накинутой поверх белого халата. Не останавливаясь, она, словно завсегда, подбежала к столу, за которым сидели трое мужчин. Но она не успела и слова произнести. Завидя ее еще в дверях, Мирза-Авакян вскочил с места. Он понял, что с больным плохо. Только успел бросить своим друзьям: «Я побежал» — и выскочил из кафе. За ним, едва переводя дыхание, выбежала сестра.

\* \* \*

— Откройте окно, — первое, что сказал Мирза-Авакян, войдя в палату.

Он сел на край койки. Взял в руки кисть больного.

— Кислород! — скомандовал он.

Хирург поднял веко больного. Послушал стетоскопом сердце поверх повязки.

— Когда сделали морфий?

— Час назад, — ответили ему.

— Еще морфий. Приготовьте шприц с адреналином. И кислород постоянно.

— Арутюн Григорьевич, — сказал дежурный врач, — перед тем как потерять сознание, больной стонал и задыхался.

— Все правильно. Резали-то по живому. И грудная клетка от боли, от удаленного ребра неподвижна. Вот он и задыхается.

Медсестра подала хирургу шприц с длинной иглой в эмалированном лотке. Мирза-Авакян взял из рук другой сестры тампон, смоченный спиртом. Протер руки. Взял шприц. Слегка приподнял повязку. Пощупал ребра. Наметил точку укола. И в мгновение воткнул иглу до самого конца. В палате стояла мертвая тишина. Хирург медленно тянул за поршень. Показалась алая кровь. Кто-то за спиной бросил: «Попал!» В следующее мгновение содержимое шприца словно растворилось, и хирург, ловко вытащив иглу, прижал место укола тампоном.

— Уберите маску с лица! — скомандовал Арутюн Григорьевич.

Он вновь приподнял веко. Слегка ударил по щеке. Больной тотчас же открыл глаза.

— Ты что это меня подводишь? — с укоризной спросил Мирза-Авакян.

— Я ничего, — тихо прошептал Саркис.

— Ты смотри у меня! Договорились ведь...

— Конечно.

— Ладно. Поговорили, и хватит. Кислород. Постоянное дежурство. Не отходить от больного. Я же предупреждал.

— Мы не отходили, Арутюн Григорьевич, — сказала дежурная сестра.

В палату вошел присутствовавший во время операции Левон Оганесян. В глазах его был испуг.

— Ну, как он там? — спросил он.

— Организм сильно истощен. С трудом справляется.

— Прогноз...

— Пойдем-ка лучше ко мне, — сказал Мирза-Авакян.

\* \* \*

Мирза-Авакян предложил коллеге сесть. Сам по привычке подошел к окну, откуда хорошо была видна дверь кафе. Ему

казалось, что вот-вот покажутся его друзья. Мысли его перебил голос терапевта.

— Как по-твоему, сколько он протянет? — спросил Оганесян.

— Трудно сказать. Может, и через час сердце остановится. А может, и нас с тобой переживет. Повторяю: организм выдохся, сил своих нет.

— Это ты хорошо сказал. Организм выдохся... Час назад у меня скончался больной. Да ты знаешь его, у тебя здесь оперировали. С язвой желудка.

— А почему же с послеоперационной язвой больной лежит у терапевта?

— А какая разница, где ему лежать. Выдохся организм. Понимаешь?

— Понимаю. Но кто виноват? Я теперь вспоминаю его. Это из-за него мы с тобой поссорились. Оперировал Еолян.

— И прекрасно оперировал.

— А что толку! Что толку в нашем труде, если больные по вине вашего брата терапевта гибнут даже после блестяще проведенной операции?

— Вот я и хочу попросить тебя...

— О чем?

— Нам надо совместно разработать сроки хирургического вмешательства.

— Нет таких сроков. Есть лишь железная логика. Тот больной, если мне не изменяет память, болел чуть ли не двадцать пять лет. Представить только — четверть века. И всю четверть века терапевты пичкали его лекарствами. Ну, вначале, понятно, хорошо было. Сразу не будешь человека под нож класть. Ведь, бывает, и без лечения проходит. Но потом выяснилось, что у него язва словно инородное тело. Сужение. Едва пища проходит. Человек весь высох. Нужно ли его доводить до «Гиппократова лица», а потом разводить руками: вот, мол, тут ничего не поделаешь... Надо отдать хирургам. И теперь знаешь что будут говорить родственники умершего?

— А чего им говорить? Они разве не видели, как он мучился?

— Нет. Они не так будут думать. Они скажут, что хирурги зарезали. Мол, жил человек четверть века с язвой, глядишь, и еще пожил бы, а тут зарезали. Они ведь не скажут, что терапевты довели больного до такого положения, что организм уже не в состоянии был справиться с собственным недугом.

— И тем не менее нам надо разработать сроки. Пока мы спорим — люди погибают. И я убежден, что это не рок. Мы суем презреть собственную амбицию, но, с другой стороны, нужно, чтобы хирурги тоже не ударялись в крайность. Вот почему говорю о сроках. Нужны критерии в каждом отдельном случае.

— Ты правильно говоришь: в каждом отдельном случае... Надо совместно в каждом отдельном случае у постели больного и решать. Иначе будет столько критериев, сколько больных. И надо забыть, что мы хирурги или терапевты. Мы врачи. И у нас одна общая цель: вылечить больного. Что же касается амбиции, то, мне думается, такого врача надо гнать в три шеи.

В кабинет вошла дежурная сестра.

— Я подумала, — сказала она, — что вам надо обязательно сообщить. Больной улыбается. Состояние хорошее. Пульс в норме.

— Спасибо, Ашхен-джан. Ты правильно подумала.

Сестра ушла. Наступило молчание. Мирза-Авакян вновь подошел к окну.

— Куда ты так внимательно смотришь?

— Там Ачарян и Тадевос. Вместе сидели и пили. Прибежала Ашхен...

— Это какой Тадевос? Авдалбекян?

— Да.

— Завидую этому человеку. Невероятно работоспособный.

— И я его за это люблю, — сказал Мирза-Авакян.

— Подумать только, за что ни берется — фундаментальный труд. Экономика, арменоведение, историография, археология, литература, публицистика. И теперь, я слышал, он переводит с немецкого «Капитал» Маркса.

— Не прибедняйся, Левон Андриасович. Ты тоже выдаешь труды, хотя называешь их тезисами. Мол, главное впереди.

— Да какие там труды! Действительно тезисы.

— Наука всегда начинается с тезисов. Мне по душе твои этюды по истории медицины в Армении.

— А ты знаешь, я так и назову, если, конечно, мне удастся написать свой труд, — «История медицины в Армении». И чего мудрить, в самой заглавии уже должно быть заложено содержание.

— А я вот ленюсь писать. Замыслов много. Но не могу долгу сидеть за письменным столом. Душа рвется в операционную. А в историю медицины входят лишь те, кто оставил после

себя осязаемый след — написанный и напечатанный труд. Кто знал бы о Гиппократе без его работ? Кто знал бы Авиценну без его энциклопедии «Канон врачебной науки»?

— Ты должен немедленно описать сегодняшнюю операцию. Ты просто не имеешь права молчать. Никто за тебя не сделает. Ведь ты оперировал.

— А что? Подумаю.

\* \* \*

Дверь открылась. В проем просунул голову вахтер с пышными усами.

— Арутюн Григорьевич, — сказал он, — тут двое внизу вас требуют.

— Кто такие?

— Не знаю. На вид культурные. Один даже в шляпе. Другой высокий...

— Впусти. А то и сами войдут! Это свои.

Голова исчезла. И вскоре в кабинет вошли Рачья Ачарян и Тадевос Авдалбекян.

— Ну что ты нас терзаешь? — с ходу выпалил Ачарян.

— Мы переживаем за него, а он сидит себе спокойненько, — добавил Авдалбекян,

— А что случилось? — удивленно спросил Мирза-Авакян улыбаясь. Было видно, что он рад приходу друзей.

— Как что случилось? — сказал Ачарян. — Выскочил из кафе как ошпаренный и еще спрашивает, что случилось... Как твой больной?

— Как недавно доложила дежурная сестра, улыбается.

— Послушай, — сказал Авдалбекян, — ты хоть догадываешься, что уже весь город знает о твоей операции?

— Кто тебе сказал?

— Да в кафе «Турист» все уже пьют за это.

— Арутюн, — как-то умоляюще произнес Ачарян, — будь так добр, покажи нам своего героя.

— Кого это?

— Ну, больного твоего. Не каждому ведь повезет поглядеть своими глазами на человека, который родился во второй раз.

— Да вы что, друзья, с ума сошли? Это же больница. Можно занести инфекцию и испортить все дело.

— А ты нам давай маски.

— Да ладно, Арутюн Григорьевич, — вмешался Оганесян, — пусть поглядят из дверей.



— Вот ты и сопровождай их, — сказал Мирза-Авакян. — А то мои сотрудники могут упрекнуть меня. Скажут, на словах говорит одно, а на деле — другое.

Гости в сопровождении терапевта вышли из кабинета. Мирза-Авакян закурил. Подошел к окну, открыл форточку. Раздался телефонный звонок. Хозяин кабинета медленно подошел к аппарату и взял трубку.

— Да... Здравствуйте, Ашот Гарегинович... А вы откуда знаете?.. Да что там, операция как операция... Спасибо... спасибо... С пятнадцатого года болеет. А пулю носит в сердце уже два года... Да, правда, правда. Носил, а не носит... Seriously, Ашот Гарегинович. — В кабинет с шумом ворвались Ачарян и Авдалбекян. Мирза-Авакян жестом успокоил своих гостей. — Я говорю, как вы узнали?.. Спасибо, Ашот Гарегинович. — Мирза-Авакян задумчиво посмотрел на телефонную трубку и в мертвой тишине положил ее на рычаг.

— Постой, постой, — нарушил молчание Ачарян, — это кто такой — Ашот Гарегинович. Уж не шушинский ли?

— Он самый. Первый секретарь ЦК Компартии Армении.

— Как мы поняли, он тебя поздравил с операцией, — сказал Авдалбекян.

— А знаешь, мне это понравилось. Сто лет я не пил. А теперь по вине этого мясника мы вынуждены были с Тадевосом выдуть чуть ли не две бутылки коньяку. И теперь, как ни странно, хочется еще пить.

— Будешь теперь сочувствовать алкоголикам, — смеясь сказал Мирза-Авакян.

— Нет, я вполне серьезно. Молодец Ашот! Это не просто звонок по телефону. Это звон, напоминающий, что мы имеем республику, государство.

— А это при чем? — спросил Авдалбекян.

— Ничего вы тут не понимаете. Звонит руководитель республики хирургу и поздравляет с удачно проведенной операцией. Это ведь история. Ты вон, Тадевос, все пишешь про разные прибавочные продукты. А ты опиши этот исторический факт... Пойдем выпьем.

— Хватит на сегодня, — сказал Авдалбекян.

— Именно на сегодня и не хватит. А завтра я уже пить не буду. К сожалению, не буду. Мы же не люди. Не веселимся потому, что это помешает работе. А я всегда завидовал Ашоту Иоаннисяну.

— Да что это сегодня все завидуют друг другу! Тут Левон завидовал Тадевосу за его плодовитость в науке. Теперь ты завидуешь Ашоту.

— Я по-другому завидую. Понимаешь, Ашоту повезло среди наших современников, как никому другому. Он — сама история. Он был наркомом просвещения.

— И ты завидуешь...

— Он был наркомом просвещения, — перебил Тадевоса Ачарян, — и по долгу службы на этом посту подписал декрет о создании Ереванского университета. Вы понимаете хоть, что у нас произошло! Университет! Вот что у нас произошло.

— Ну, если не Ашот, то подписал бы кто-то другой, — спокойно сказал Авдалбекян.

— Да. Но был Ашот, и подписал он. И сегодняшний звонок подтвердил, что он — сама история.

\* \* \*

Арутюн Григорьевич в тот день не пошел домой. Поздно вечером Ашхен постучала в дверь кабинета и, не дождавшись приглашения, ногой толкнула ее. В руках она несла постельное белье и одеяло. Она молча подошла к кушетке и стала старательно стелить постель.

— Ты, собственно, почему здесь, Ашхен-джан? — спросил Мирза-Авакян.

— А где же мне быть? — не поднимая головы, тихо сказала девушка.

— Я же знаю, ты вчера работала. С каких это пор у нас стали дежурить по двое суток подряд? Кажется, время не военное.

— Вы же сами чуть ли не круглые сутки здесь.

— Я — другое дело. А ты должна жить по своему распорядку.

— Трудно жить, Арутюн Григорьевич, по расписанию. За больным нужен особый уход. И я хочу быть рядом. А дома у меня все равно никого нет.

— Как так? — Мирза-Авакян подошел к сестре и посмотрел ей в глаза, словно стараясь получше разглядеть ее.

— Одна я осталась. Родители мои погибли в Муше. Их убили. Мне тогда было восемь. Османцы схватили меня и еще много девочек и мальчиков, разместили по обозам и повезли куда-то. Потом по дороге нас спасли наши. Дальше трудно рассказывать...

— Ты садись, Ашхен-джан. Нет, лучше принеси-ка чаю. Два стакана. На двоих то есть. Вместе и попьем.

Сестра молча вышла из кабинета. Мирза-Авакян подошел к окну, посмотрел в темную пустоту. «Что ни судьба, то трагедия. Тысячи Шекспиров не в состоянии описать их. И весь ужас в том, что убийцы остались безнаказанными. Но мы рождаемся и живем. Новую жизнь творим на камнях. Но не успокаиваем ли себя?.. Нет, — глубоко вздохнул Мирза-Авакян, — не успокаиваем. Чтобы наказать убийцу, надо прежде встать на ноги... Мы сейчас все вместе напоминаем Саркиса Григоряна. Вытащили пулю из сердца. Отвели руку смерти. Но нужно еще время, чтобы он встал на ноги. Чтобы он крепко стоял на ногах. За это еще нужно бороться».

Дверь открылась. Ашхен на подносе несла чайник, два гра-  
н-ных стакана, два куска хлеба и два куска сахара. Поставила поднос на край стола.

— Пусть так и останется все, — сказал Мирза-Авакян, — а то видишь, как стол завален. Мы так попьем. Ты разливай. Разливай, не стесняйся.

Ашхен разлила в стаканы темный чай.

— Может, он слишком крепкий для вас, Арутюн Григорьевич?

— Нет, Ашхен-джан. Я люблю крепкий. Главное, чтобы был горячий.

— Чай горячий, пейте.

— А ты как в Ереван попала? — спросил Мирза-Авакян, беря в руку стакан.

— Из Александрополя, то есть теперь уже из Ленинакана. Я там была в сиротском доме. Потом прошла курсы медицинских сестер. А там нашлась родственница из Муша. Она пере-  
езжала в Ереван и взяла меня с собой.

— Так ты же говоришь, что дома у тебя никого нет.

— Да. Никого нет.

— А тетка?

— Она полгода назад умерла.

— От чего?

— Да неизвестно. У нее бывали частые приступы, лихора-  
д-ило. Она теряла сознание. Потом, когда отпустило, была сов-  
сем нормальный человек.

— Знакомые симптомы. Левон Оганесян занимается этой болезнью. Есть, говорит, подозрение, что она встречается только у нас, у армян. Причина, возможно, — сильное нервное потрясение, переживание. Болезнь эта особенно распространилась после пятнадцатого года. Многие шушинцы тоже болеют

ею после двадцатого года... Однако ты пей чай, пей. Пей чай и отправляйся-ка домой. Я тебе в провожатые дам дежурного врача.

— Нет, Арутюн Григорьевич, я останусь здесь.

— Ну и молодежь пошла! Никакой дисциплины! Разве можно старшему сказать «нет»? Ты, может, не знаешь: я был долгие годы военным врачом. Так что я приказывать умею.

— А я буду умолять вас. Зачем домой, если мои мысли все равно будут здесь. Рядом с Саркисом...

— С Саркисом?

— Ну, — покраснела Ашхен, — я имею в виду — с оперированным.

— В палатах наших несколько десятков больных...

— Саркис — другое дело. Скорее дело не в нем...

— А в ком? — с удивлением спросил Мирза-Авакян.

Юная Ашхен вначале побелела, потом щеки ее залились краской. И она словно выдавила из себя:

— Дело скорее в медицине. Нужно, чтобы все было хорошо.

— Ты правильно думаешь, — стараясь не замечать смущения сестры, сказал Мирза-Авакян и добавил: — Очень нужно, чтобы все было хорошо. Кстати, сходи-ка и проведай Саркиса. Да приди и доложи мне.

Ашхен вышла из кабинета. Мирза-Авакян сел за письменный стол. Рядом лежала кипа историй болезни. Он взял верхнюю папку. Прочитал вслух: «Григорян Саркис». Макнул перо в массивную чернильницу и принялся писать.

\* \* \*

Я читаю записи тех лет. Почерк хирурга размашистый, но четкий. Подробное описание операции хирург завершил словами: «Общее состояние удовлетворительное». Я перелистываю историю болезни и день за днем прослеживаю состояние больного в послеоперационный период. Затем хирург коротко напишет в своем научном труде: «8 апреля 1927 года. Смена повязки и тампонов. Рана спокойна. Больной сидит. Болей особых нет. Пульс нормальный, хорошего наполнения. Общее состояние удовлетворительное. 10 апреля — состояние прежнее. 11 — смена повязки. 12 — несколько нервничает, просится ходить. 13 — тампоны удалены все. Рана спокойна. Разрешено ходить». Врачи знают, в каких случаях в истории болезни пишут «состояние хорошее». Это уже нужно иметь чуть ли не полную уверенность

ность в том, что опасность миновала. На двенадцатый день произведена повторная рентгенография: на месте пули — слабая тень на стенке левого желудочка. «23 апреля — швы удалены все. Рана рубцуется. Боли в области сердца, одышка и все ненормальные явления, наблюдавшиеся до операции, теперь отсутствуют. У больного очень хорошее настроение...»

Записи эти остались на бумаге. Остались в истории. Но многое из того, что происходило в те две послеоперационные недели, нигде не фиксировалось и лишь сохранилось в памяти очевидцев тех дней.

Весть об уникальной операции разошлась по всей Армении. У входа в больницу собирались толпы людей из различных районов. У многих авоськи и свертки в руках. В больницу привозили свежий лаваш из Егварда, сыр из Ехегнадзора, тутовое варенье из Гориса, каким-то чудом сохранившиеся до апреля яблоки из Гарни, орехи из Аштарака и даже тутовую водку и сушеные тутовые ягоды из Карабаха. Редко кому удавалось пробраться в палату и повидать больного. Люди по несколько часов толпились у больницы, узнавали новости и отправлялись по длинным и долгим тогда дорогам к себе домой.

Но сегодня для меня с высоты времени, пожалуй, самое необычное, самое трогательное — это запись, сделанная в истории болезни 24 апреля 1927 года: «Консультация доцента Л. Оганесяна. Назначить вторичное проведение исследования функциональной способности сердца... Больного посетили Р. Ачарян, Т. Авдалбекян, Х. Авдалбекян, С. Габриелян, Л. Мирза-Авакян...»

Других каких-либо пояснений нет. Никто из перечисленных в истории болезни посетителей не был врачом. Но когда знакомишься с биографией каждого из них, с их взглядами, гражданской позицией, то уже не удивляешься, почему они решили посетить несчастного больного именно двадцать четвертого апреля, в день памяти жертв геноцида армян.

\* \* \*

«28 апреля. Произведено повторное исследование функциональной способности сердца со следующими результатами...» Далее приводится нехитрая таблица цифр, по которым специалисты довольно объективно могут определить состояние сердца. Сначала измеряют пульс и давление крови в покое. А потом измерения проводят после различных нагрузок: подпрыгивание, движение рук вперед и назад, приседания. Определяется

также время, после которого первоначальные показатели восстановились. Все нормально. Все хорошо. Моментами диву даешься — как у спортсмена.

Выписался Саркис Григорян восьмого мая, ровно через месяц после операции. Запись в истории болезни:

«Больной выписался из больницы. Самочувствие хорошее. Все дооперационные явления исчезли. Считает себя вполне здоровым...»

Ровно месяц, все тридцать дней и ночей, Ашхен ночевала в больнице. Ухитрялась спать лишь в дневное время. Чаще всего в кабинете Мирза-Авакяна. Хирург сам заставлял сестру спать у себя в кабинете. Иногда закрывал дверь на ключ и носил его весь день в кармане.

Никто не знал, где поселился в Ереване Саркис Григорян. Знали лишь то, что еще долгое время раз в неделю, а потом раз в месяц он приходил в больницу на обязательный осмотр. И приходил всегда в сопровождении Ашхен.

\* \* \*

О судьбе Саркиса Григоряна в дальнейшем можно узнать лишь из биографии самого хирурга. А биография эта осталась в памяти его современников, которых с годами становится все меньше и меньше. И в архивах: в тетрадях, на отдельных клочках бумаги. Я читал лист за листом. И всегда казалось, что я беседую с этим человеком. С человеком, который, по выражению родного брата хирурга, Левона Мирза-Авакяна, родился с «божьей искрой». И постепенно оживал образ хирурга, которому я задавал бесконечное множество вопросов, и он отвечал на них. Иногда мы даже спорили. И я долго находился во власти нашего воображаемого разговора.

«Сейчас фамилия отца переходит сыну, а потом внуку, правнуку. Раньше, как известно, было иначе. Откуда пошла фамилия Мирза-Авакян?»

«Родился я в Шуши. Дед мой был священником. Звали его Авак Улубабян. Значит, по всем правилам, я — Улубабян. Но шушинцы в знак особого уважения к деду, как человеку грамотному, прозвали его не просто Авак, а Мирза-Авак. Вот и стала наша семья — Мирза-Авакяны».

«Почему вы стали врачом? Кажется, семейных традиций не было».

«Отец мой сказал: «Ты должен получить образование, если даже для этого придется продать последний пиджак». И вот я

на стипендию армянского мецената Тер-Гукасяна учился в Киеве на физико-математическом факультете. Я и сейчас, бывает, по ночам просиживаю над решением математических задач. И если бы знали, какое я получаю наслаждение от них! Не могу сказать, что врачом я стал случайно. Ведь я перевелся на медицинский, уже пройдя два курса физико-математического факультета. То есть шаг мой был более чем осознанный. А вот конкретно почему — не знаю. Есть некий внутренний голос у человека. Он постоянно тербил меня. Брат мой его называет «божьей искрой». Наверное, так оно и есть. Не захотел же стать археологом и лингвистом, как Ачарян. Значит, не ошибся этот мой внутренний голос...»

«Как вы относитесь к тем, кто работает врачом без призвания, без «божьей искры», без волнения “внутреннего голоса”?»

«Таких врачей просто не должно быть».

«Но они есть».

«Общество должно сделать все, чтобы подобные люди не становились врачами».

«Но ведь на лбу не написано, будет он врачом или археологом».

«А внутренний голос? А “божья искра”?»

«На них может рассчитывать лишь честный человек».

«Нечестный человек не должен быть врачом. И не только врачом».

«Но как узнать, честный он или нечестный?»

«А дела его?»

«А какие здесь должны быть критерии? Это же не спорт. Тут ни секундомером, ни весами не измеришь. Вы практиковались в Париже. Расскажите о ваших впечатлениях».

«О пребывании во Франции я докладывал на хирургическом обществе двадцать седьмого февраля тридцатого года. Главное то, что я присутствовал на операциях знаменитостей. Таких, как Гессе, Легео, Марион, Хартманн, де Мартель. И вот что хочется сказать особо. Там слова “опоздание” не существует в обиходе. Если студент опаздывает два раза на лекции, то его исключают из университета. До поступления на медицинский факультет молодой человек обязан окончить специальные курсы, где он изучает физику, химию, ботанику и биологию. И не где-нибудь, а в Сорбонне. Только успешно окончив эти курсы, он получает право для поступления на медицинский факультет...»

«И все-таки люди бывают разные. Одни более способные, другие — менее. В принципе и те, и другие могут стать врачами».

«Я не согласен. Если неспособный человек станет врачом, то он вскоре оставит медицинскую практику. Он будет не в состоянии хорошо лечить, а стало быть, и прокормить себя! И вообще такой проблемы нет».

«Какой вам видится хирургия будущего? Скажем, через полвека».

«Если сама хирургия в конечном итоге — это “рукоделие”, то в этом отношении вряд ли кто обойдет великого Пирогова. Да и вашего покорного слугу трудновато опередить. Врачу станет помогать техника. Он не будет торопиться, потому что усовершенствуется наркоз. Он не будет бояться послеоперационных инфекций, как мы. Начнется пересадка органов и даже систем. Недавно я читал статью о работах в области создания аппарата искусственного кровообращения. И читал о дальнейшей узкой специализации в медицине. Эти две информации симптоматичны для грядущего. Значит, операционную будущего можно представить себе как некий машинный зал. А узкая специализация, если она станет неуправляемой, может нанести вред. Врач перестанет замечать больного. Но все это лишь издержки. А прогресс будет невиданным. Можно только позавидовать нашим детям и внукам».

«В ваших письмах родным и близким вы много пишете о новой школе. Радуетесь, что их с каждым годом становится все больше и больше, гордитесь, что открылся университет. И одобряете, что некоторые факультеты, в том числе и медицинский, стали самостоятельными высшими учебными заведениями. Однако чуть ли не в каждом письме сквозит нескрываемое беспокойство по поводу качества преподавания».

«Есть у меня дома фотография преподавателей нашего университета. Недавно долго всматривался в лица моих мудрейших соотечественников, многие из которых, несомненно, навечно войдут в историю. Всех их я знаю. И что меня поразило. Чуть ли не все они окончили знаменитые европейские университеты. Вот только несколько примеров. Приведу по памяти. Манук Абемян. Родился недалеко от Старого Нахичевана. Учился в Эчмиадзинской семинарии. Геворгян. Учился в Йенском, Лейпцигском, Берлинском и Парижском университетах. Ваган Арцруни. Окончил Ереванскую прогимназию, а потом медицинский факультет Сорбоннского университета. В Париже мой большой друг Рачья Ачарян сделал доклад обществу языковедов о своем исследовании языка лазов. Он вскоре стал членом этого общества. Я удалил ап-



пендикс Овакиму Беделяну, который составил «Международный ботанический словарь» на восьми языках. Учился в Мюнхене, Берлине, Париже, Копенгагене и Флоренции. Начальное образование армянское. Тигран Джрбашян начал учебу в Ване, продолжил в Сорбонне, где прослушал курс общей математики, минералогии, кристаллографии и антропологии. Затем окончил Парижский горный институт. Ашот Иоаннисян учился в Шуши на армянском, а докторскую диссертацию защитил в Мюнхене на немецком. А вот гордость наша — Айкандухт Чахмахчян, которая окончила армянскую женскую школу Рипсима, поступила на медицинский факультет Берлинского университета, а по окончании его на естественное отделение философского факультета Цюрихского университета. Окончила и это отделение, слав блестяще докторские экзамены, — конечно на немецком... Список этот я мог бы продолжить. Я их всех хорошо знаю. В свободное время пишу о них. И вдруг, знакомясь здесь, в Ереване, с учебой в школах, я был поражен. Впечатление удручающее. Бог мой, и своим языком как следует не владеют. Родители рады одному: что их дети ходят в армянскую школу. А что там, как там — никого уже не волнует. Меня это очень беспокоит. Школа должна быть по типу Царскосельского лицея или Шушинской семинарии. Выпускник должен на родном языке писать хотя бы для себя стихи и владеть несколькими языками. Иначе это трудно назвать школой...»

«В письмах к матери и сестре Маро вы часто признаетесь, что в Ереване вы никак не можете обрести покой. То хочется жить здесь, в большом городе, где есть много больниц, то в Карабахе — на своей родине. И там, по предложению заведующего облздравотделом Багдаляна, наладить хирургическую службу. И это — несмотря на то что в профессиональном отношении в Ереване очень даже везло. Вот строки из письма к Маро: “Как же не быть мистиком, когда мне так везет... огромное количество операций — и ни одного неудачного случая. Доволен, что Бог мой охраняет меня, грешного, от дурного глаза”. И вдруг желание оставить Ереван».

«Я вновь вернусь к той фотографии, на которой изображены педагоги университета. Ни одного ереванца. Все они приглашенные. У каждого за спиной большая жизнь. Трудно было привыкать. Не все могли перенести трудности тех лет. Бывало, уезжали. Не выдерживали. Даже стрелялись. Рождалась новая жизнь. Возрождалась родина. Нелегко было первопроходцам.

Что ж, я не скрываю ничего. Я был искренен в своих письмах. Но я был искренен и тогда, когда писал матери из Парижа, что мы с Мелик-Адамяном наслаждались чудо-городом. Но все же жизнь без родных и близких, без дорогого моему сердцу Еревана для нас невыносима. Куда ни посмотришь — чужие люди, сухой взгляд. Нет, человек должен везде быть только гостем, но хозяином — у себя на родине».

«Как известно, вместе с вашим земляком доктором Григорием Арешяном еще в начале врачебной деятельности вы решили стать гинекологами. И даже поступили в клинику знаменитого в те времена специалиста по этим болезням Писемского. Почему оставили эту специальность?»

«Одна из причин следующая: в то время в Киеве работал профессор Я. И. Пивовонский. Великий хирург. Попастъ к нему в ученики было мечтой каждого. И я попал».

«Современники сохранили другую версию, по которой вы оставили гинекологию».

«Интересно, какую?»

«Не секрет, что вы отличались незаурядной внешностью. И очень нравились прекрасному полу. Когда вы открыли свой кабинет, то женщины брали его приступом. Они не давали вам работать. О вас молва пошла по городу...»

«Да, от будущего ничего не скроешь. Но, признаюсь, лове-ласом я не был. Честно говоря, некогда было. Хирургия для меня была и женой, и любовницей».

«Вы часто в письмах справлиались у друзей о судьбе вашего учителя Пивовонского. Но никто не мог помочь вам. Скажу, что лишь вашему племяннику, будущему главному хирургу Армении Григорию Левоничу Мирза-Авакяну, удалось собрать данные о нем. У главного хирурга я и узнал, что ваш учитель до конца своих дней был в почете. В четвертом томе “Нюрнбергского процесса” на странице сорок девятой имеется сообщение о том, что после освобождения Киева от немецко-фашистских захватчиков специальная комиссия проводила расследование фактов массовых истреблений советских людей в Сырецком лагере, в Бабьем яру, в Дарвице и других местах. В состав авторитетной комиссии наряду с Павло Тычиной, Максимом Рьльским был включен медицинский эксперт профессор Я. И. Пивовонский. Умер ваш учитель в 1947 году. Некролог опубликован в журнале “Новый хирургический архив”. Ваш учитель, как и вы, славился виртуозным профессиональным мастерством. Но он, как и вы, мало писал».

«Я заполнил десятки тысяч историй болезни. За каждой строкой — судьба человека. Опубликовал всего, как принято говорить, два труда: “Случай позднего удаления пули из сердца”, “Переливание крови”, — кстати, первый научный труд на армянском языке по этому вопросу. Я начал учебник по общей хирургии, написал две главы, но работу не завершил. Начал монографию “Острый аппендицит” и тоже не завершил. Мне всю жизнь не хватало времени».

«Однако вы успевали изучать санскрит».

«Это Ачарян меня заразил».

«Вы изучали философские системы Древнего Египта, Индии, Греции. Десятки специальных книг по этим вопросам вами буквально испещрены пометками. Вы делали пространственные выписки. Переводили философов. Прочитав “Историю гибели Атлантиды”, вы немедленно взялись за перевод. И, как утверждают специалисты, перевели превосходно. Вашим кумиром был признанный стоик Марк Аврелий, и вы взялись переводить его “Размышления”. И везде — в книгах, в тетрадах, даже в официальных историях болезни — красивым почерком писали слова из Аврелия: “Не поступай против своей воли... и светло у тебя будет на душе”. Не правильнее ли было бы писать только о хирургии?»

«Нет. Кто-то очень хорошо и очень точно сказал: “Врач, знающий только медицину, не знает даже медицины”. И не только в этом дело. Нет ничего страшнее — писать ради того, чтобы писать. Я плохо владел пером. Я писал скальпелем. Для меня чистый лист бумаги — операционное поле. И всегда один и тот же сюжет, одна фабула, одна задача, одна сверхзадача — спасти душу и тело человека. Меня не читают миллионы. Но тысячам и тысячам людей я помог, и они знают меня. И те тридцать семь человек, которых я оперировал по поводу аневризм сосудов, в том числе и сонной артерии. Семьдесят три человека трудятся с резинированными суставами. Живы и здоровы двести восемьдесят три человека, которым я провел трепанацию черепа. У восьми из них я извлек пули из головы. И писал об этом только в историях болезни. Цифры эти я привел лишь из одного годового отчета. Всего один год. Военный 1917 год. И привел я их только потому, что хорошо помню. Но оставим цифры. Все болезни страшны. Но есть такие, которые просто ужасны. Человек перестает чувствовать себя человеком. Это паралич и расстройства при ранениях и повреждениях позвоночника. Не знаю, как будут лечить таких несчастных в буду-

щем. Но я делал ламинэктомию в десятках городов, и люди после операции становились на ноги, на лицах их появлялась улыбка. В одном из докладов говорилось о том, что я впервые в Армении сделал резекцию желудка при раке и ларингэктомию при раке гортани, операции на щитовидной железе. Я, помню, покраснел тогда и прервал докладчика. Просил, чтобы он назвал имена моих учеников, которые помогали мне. Но по-настоящему гордился, когда было сделано сообщение о том, что я один из первых в стране произвел операцию Богораза — наложение анастомоза между верхней брыжеечной веной и нижней поллой веной при портальной гипертензии».

«Спустя полвека потомки называют вас одним из основоположников армянской хирургической школы».

«Слишком громко это звучит — школа. Медицина общечеловечна, и не стоит слишком обособлять региональные национальные школы. В лучшем случае нас можно назвать отличными руководителями».

«Кого вы еще имеете в виду, говоря “нас”?»

«Позже в Ереван приехал из Ростова великолепный хирург А. С. Кечек, из Одессы — Г. А. Мелконян. Я был не один. У каждого из нас были свои ученики. Вот об учениках своих я могу говорить с гордостью. Это — Еолян и Дуринян, Мартикян и Согомонян, Галстян и Исаакян. Уверен, у каждого из них в дальнейшем были и свои ученики. Значит, и они были моими учениками. И в каждом из них есть моя частица. Если верно, что хирург с каждым своим больным умирает, то верно и то, что он обретает бессмертие в делах своих учеников. Я всегда гордился, что я — хирург. И писал, повторяю, свои книги скальпелем. И другим советовал “делать дело делом”».

«И тем не менее, если собрать вместе все то, что вы выписали из различных книг, получится несколько томов».

«Это уже другое дело. Я не доверял своей памяти, хотя никогда не жаловался на нее. Я выписывал то, что было с величайшей мудростью сказано до меня, и то, что сам бы хотел сказать. И вообще каждый, кто берет в руки перо и смотрит на чистый лист бумаги, должен задуматься над главным: не сказано ли уже давно то, что он хочет написать, о чем хочет поведать? Может, и не нужно повторять».

«Я вам напомним некоторые из выдержек, которые мне доводилось читать в ваших тетрадах. Вы удивлялись тому, что Сократ говорил о древних. Казалось, по части мудрости древнее самого Сократа нет никого, и вдруг великий философ пи-

шет: “Я просматриваю сокровища древних мудрых мужей, которые оставили нам последние в своих сочинениях. И если мы встретим что-либо хорошее, заимствуем и считаем великой прибылью”. Этими словами у вас начинается целая тетрадь, в которой приведены слова, написанные философами и мыслителями. “Мы должны стремиться не к тому, чтобы нас всякий понимал, а к тому, чтобы нас нельзя было не понять”. “Подавлять в себе долг и не признавать обязанности, требуя в то же время всех прав себе, есть только свинство”. — Достоевский. “Одна из самых гибельных наших ошибок — портить хорошее дело плохим проведением его в жизнь”. — Пенн. “Никакая нация не может достичь процветания, пока она не осознает, что пахать поле — такое же достойное занятие, как и писать поэму”. — Вашингтон... Тетрадей с мудрыми мыслями сохранилось мало. Ваши современники считают, что их у вас было гораздо больше. Записи эти иногда напоминали дневники, ибо порой вы даже ставили даты. Датирована и цитата из Геродота: “Людам, решившимся действовать, обыкновенно бывают удачи. Напротив, они редко приходят людам, которые только и занимаются тем, что взвешивают и медлят”. Датировано 7 апреля 1927 года. За день до операции на сердце».

«Выходит, Саркиса Григоряна спас не только я, но и Геродот тоже. Ведь меня тогда действительно вдохновляли эти высказывания. Хотя в официальных документах относительно нашего пациента были и другие слова».

«Они тоже сохранились. “На такую операцию могут в наши дни решиться только в Лейпциге”. Так написано в одном из эпикризов, выданных на руки Саркису Григоряну. Слова эти будут приведены в докладе, посвященном вашему столетию».

\* \* \*

Сразу после возвращения из Парижа Мирза-Авакян попросил, чтобы к нему пригласили Саркиса Григоряна. Почти полгода не виделись. Делясь со своими сослуживцами впечатлениями о поездке, хирург заметил, что об операции, проведенной в Ереване восьмого апреля 1927 года, знали в кругах французских хирургов. И Мирза-Авакян, делая в Париже доклад о своей операции, завершил его словами о том, что хирурги за свою жизнь делают сотни и тысячи сложнейших операций, но бывает одна, которая превращается в звездный час врача. Мирза-Авакяну повезло: он пережил свой звездный час.

Арутюн Григорьевич не сразу узнал Саркиса. Он даже спросил: «Вы ко мне?» Лишь потом, приглядевшись, признал в человеке, стоящем в дверях, своего пациента.

— Что это с тобой, Саркис? Откуда такая борода?

Саркис ничего не ответил. Подошел к хирургу, протянул руку. Мирза-Авакян обнял его, касаясь щекой густой жесткой бороды.

— Садись, — предложил хирург, — садись и рассказывай. Сто лет, сто зим не виделись.

— Да, не виделись давно.

— И все-таки... зачем борода? Ты, конечно, извини. У меня, как видишь, у самого борода да усы. Но мне кажется, что я таким родился. Мир привык ко мне. И я тоже привык. А ты — другое дело.

— Так уж вышло. Сорок дней, как положено по нашим законам, носил траур, не брился. А потом и вовсе расхотел. Мой траур теперь уже не имеет сроков.

— Ничего не понимаю. Кто скончался?

— Как кто? Разве вы не знаете? — с удивлением спросил Саркис.

— Нет.

— Ашхен умерла. Три месяца назад.

— Как умерла? — Хирург встал с места, подошел к окну. Походил по кабинету, вернулся к столу.

— Она болела. Особенно в последнее время.

— Чем же болела?

— Никто не знает толком. Говорили, и тетка ее тем же болела. Все нормально, и вдруг приступы, высокая температура. Сознание теряла, задыхалась. Невыносимо было смотреть на ее мучения.

— Смотрел ее Левон Оганесян?

— Да все смотрели. И даже новое название придумали. Говорят: «армянская болезнь».

— Печальная привилегия для нации. Но куда не денешься. Факт налицо. Говорят, у других этого нет. Болезнь, возникающая от невыносимых страданий.

— Мы же расписались накануне. Она сказала, что иначе нельзя, иначе слухи, мол, пойдут. А жили под одной крышей с той минуты, как я выписался отсюда. Она сказала, что должна выйти за меня. И не скрывала, что делает это ради вас, Арутюн Григорьевич.

— Ради меня?

— Да, ради вас. Говорила, что моя жизнь для науки очень важна. Как победа для вашего скальпеля. В народе много говорили об этой операции. Вот она и хотела, чтобы я жил и жил. Вы даже не знаете, ко мне три раза заходили Егише Чаренц и Аксель Бакунц. Знаете, Бакунц как приезжал из Кафана или Гориса, то непременно навещал меня. А в последний раз он пришел ко мне после возвращения из Ахты. Там выходцы из Хотурджур деревню построили, коммуны создали. Там же устроился Аксель в одном домике. Работал. Разговорились, и он сказал, чуть не плача: «Люди потеряли родину. И теперь утешают себя тем, что назвали свое хозяйство Хотурджуром или Новым Хотурджуром. Люди довольствуются копией. А оригинал топчет враг. Топчет безнаказанно...» И Ашхен слушала затаив дыхание. Глаза у нее горели...

— Как похоронили? — спросил Арутюн, не задумываясь уже над тем, что говорит. Он был потрясен известием о смерти человека, который был дорог ему.

— Много было народу. Вся больница была. Умирая, она все о вас говорила... Я ведь, Арутюн Григорьевич, знал, что не меня она любила, а вас. И делала все, повторяю, ради вас. И в последний час, чувствуя приближение смерти, сама в этом призналась.

— Не надо, Саркис! — тихо попросил Мирза-Авакян, расстегивая ворот рубашки. — Она специально говорила. Так поступают мудрые, тонкие люди. Она это сказала для того, чтобы после ты не очень страдал. Ведь человек страдает куда больше, когда теряет не только любимое существо, но и любящее существо...

— Неужто вы думаете, что от этого я меньше страдаю? Удивляюсь моему сердцу.

— Поговорим лучше действительно о сердце. Как оно?

— Бьется, Арутюн Григорьевич. Знаете, я как другой человек. Оказывается, люди делятся на две категории. Одни, хотя бы того или нет, постоянно думают о своем сердце, другие даже не знают, где оно находится. Я был в шкуре обоих.

— В какой же из них лучше?

— Шутите. А я скажу, что так быстро и не ответишь на этот вопрос. Думаете, это хорошо — не чувствовать свое сердце, не замечать? Не сказал бы. Когда оно болело у меня, я каждый свой шаг соизмерял с фактом болезни, немощи. А теперь — психология практически здорового человека...

— Не кокетничай, Саркис. Лучше разденься. Дай-ка я тебя послушаю.

- А может, не надо, Арутюн Григорьевич?
- Почему?
- Сегодня лучше не надо. Я не думал, что вы не знаете о несчастье, и недоволен, что первым сказал вам об этом.
- Ну при чем здесь ты? Это даже хорошо, что об этом я услышал от тебя, а не от другого человека.
- И все-таки, Арутюн Григорьевич, в другой раз. Я пойду. Мне на работу еще.
- Как на работу? Тебе же оформили пенсию.
- Да, но я поступил на работу. Благо, специальность у меня на флоте была такая, что пригодилась и на суше. Я же был судовым механиком. А здесь теперь вон сколько машин появилось. На автобазе я...
- Постой, не слишком ли это? Тебе запрещена тяжелая работа.
- Я понимаю, Арутюн Григорьевич. Только не могу сидеть на печке и думать о своем сердце. Тем более что оно тоскует. Я и на работу поступил, чтобы забыть. И подработать надо. Хочу камень на могилу Ашхен поставить, да такой, чтобы люди заметили. Чтобы они останавливались и думали об Ашхен как о человеке, который не забыт.
- А какой ты хочешь?
- Не знаю еще. Хочу, чтобы камень был побогаче.
- Нужно ли это богатство там, на кладбище... Ведь главное — память. Камень нужен как отметина на этой земле, что вот тут похоронен такой-то человек.
- Так-то оно так, Арутюн Григорьевич, — только на душе легче, когда долг исполняешь не просто для отметины на земле, а душу вкладываешь в это дело. Я принялся было снова пить, да осилил сам себя. На стене ее фотография. Гляжу на Ашхен, и сердце кровью обливается. Вспоминаю, как она рыдала, когда я выпивал. «Подумай, — говорит, — о Мирза-Авакяне. Весь его труд насмарку пойдет. А враги обрадуются».
- Какие враги? — спросил хирург.
- Ашхен всегда говорила, что у вас есть враги. Есть ведь на земле зависть. Завистливые люди есть. И добавила, что видит, как хватают и сажают самых талантливых и самых добрых. Ашхен оберегала вас от ваших врагов. А богатый камень останется на земле. Пройдет время. Забудут и Ашхен, и меня. Сами мы станем землей. Пусть тогда кто-нибудь использует его. Обработанный камень на дороге долго не провалется.



- Саркис, а где изготавливают камень?
- Прямо на кладбище. Там, под навесом.

\* \* \*

После этой встречи Арутюн Григорьевич довольно часто навещал Саркиса. Приглашал своего бывшего пациента в гости. Случалось, вместе ездили в районы на вызовы. Шофер старенькой больничной машины непонятной марки, Киракос Барикян, спустя год напишет письмо семье Мирза-Авакяна и расскажет об одной такой поездке. Ответственный работник наркомздрава лично попросил Мирза-Авакяна выехать в село Техер, где требовалась срочная консультация. Мирза-Авакян взял с собой в поездку и Саркиса Григоряна. Ехать до Техера по дорогам начала тридцатых годов, да еще на такой тарахтелке, нужно было чуть ли не полдня. Погода стояла дождливая, дороги непролазные. Машина то и дело буксовала. В местечке Крги случилась неприятность. Машина, пыхтя и скрипя всеми частями, взбиралась на гору. Вдруг впереди шофер заметил развалившегося в луже пестрого поросенка. Барикян посинел от досады. Он знал: если остановить машину, то, как сам выражался, потеряется «красавец разгон». Тогда из плена луж не выберешься. Не остановить — задавишь поросенка. Решил попробовать. Подумал: может, глупое животное вскочит с места — и тем самым проблема решится. Сигналя, машина неслась по узкой дороге, обдавая заборы грязью. Поросенок очутился только в последний миг. Вскочил, но поскользнулся в лужице и угодил под колеса. А Барикян продолжал до боли в ноге нажимать на газ. Другого выхода у него не было.

— Кажется, ты задавил его, — с сомнением в голосе сказал Мирза-Авакян.

— Не кажется, а точно, — ответил шофер.

— Сам виноват, разлегся посреди улицы, — вставил Саркис.

— Надо было остановиться, Киракос, — сказал Мирза-Авакян. — Жалко тварь. Мучиться будет.

— Если бы я остановил машину, Арутюн Григорьевич, то мы могли бы застрять до весны.

— А может, ты испугался? Ведь могли бы и побить нас.

— А что? Нынче поросенок дороже лошади.

Добрались они до Техера. Нашли больного. Оказалось, что нужна операция. Не срочная. Но операция — единственное спасение, будь то сегодня или через год. Взяли с собой в машину больного и отправились в обратный путь. Возвращение

было более приятным. По крайней мере, могли свободно говорить в машине друг с другом. Машина не так пыхтела, как на подъеме. До самого Аштарака был спуск. Когда приблизились к Крги, кто-то вспомнил про поросенка. Начали шутить. Смеялись. До места, где лежал в луже поросенок, осталось всего несколько десятков метров. И когда машина сделала очередной поворот, перед глазами предстала могучая фигура. Это была дородная женщина. Не первой свежести, но еще не старая. Стояла она, широко расставив ноги и держа руки на поясе, словно желая занять как можно больше места на этой земле. Барикян остановил машину в нескольких метрах от нее. Она не двигалась с места. Словно гипнотизировала. А может, так оно и было. По крайней мере, немного погодя Барикян нехотя вышел из машины и, словно кролик, медленно и молча приближался к ней, как к удаву. Примеру шофера последовали Мирза-Авакян и Саркис. Большой один остался в машине.

— Тебе что, мамаша? — тихо и не скрывая испуга, спросил Барикян.

— Поросенок, — глухо сказала дородная женщина.

— Кто поросенок? — притворился Барикян.

— Нет, милоч, — не меняя позы, выпалила женщина, — ты не поросенок. Ты даже не свинья. Ты — волк. Убийца.

— Мамаша...

— Если ты еще раз назовешь меня мамашей, я сделаю с тобой то, что ты сделал с моим поросенком. А ты знаешь, каких мне трудов стоило отмыть беднягу...

Мирза-Авакян громко рассмеялся. Его поддержал Саркис.

— Креста на вас нет, — укоризненно сказала женщина, наконец сойдя с места, как с постамента. — Убили бедное животное и смеются теперь.

— Успокойтесь, — стараясь быть вежливым, сказал Мирза-Авакян. — Скажите, сколько стоит поросенок.

— Пятнадцать рублей, — с ходу бросила женщина.

— Пятнадцать рублей?

— На вас креста нет, — укоризненно сказал уже Саркис.

— Да на пятнадцать рублей можно три мешка сахара купить, — добавил Барикян.

— Я тебе дам пятнадцать, — сказала женщина, — купи мне три мешка.

К спорящим подошел старец невысокого роста, широкоплечий, в шапке-ушанке.

— Ты что это, Марьям, суд устроила? — строго спросил старик.

— Да это те самые, что поросенка угробили.

— А с каких это пор армяне гостей встречают на улице, да еще в грязи.

— Какие же они гости? Они поросенка... Деньги давайте.

— Торговаться дома будешь, Марьям.

Старик уговорил путников пройти в дом и там продолжить беседу. Взяли они с собой и тежерского больного. Неплохой, кстати, повод для отдыха. Как-никак — хирургический больной, нуждающийся в операции, и тяжелая, долгая дорога. Приближаясь к дому, путники понимающе посмотрели друг на друга. Пахло шашлыком. А каждому известно, что самый аппетитный дух идет от шашлыка из свинины.

Остановились у порога. На сей раз разговор о цене продолжил сам Мирза-Авакян. Он подмигнул своим спутникам и начал:

— Нет, мы не можем согласиться на пятнадцать рублей. Это грабеж.

— А сколько вы хотите дать? — спросила женщина.

— Три рубля.

— Чего?

— Того!

— Хотя бы пять, — потеряв всякую надежду на приобретение неожиданного богатства, сказала женщина.

— Ладно, пусть будет по-вашему.

Друзья с вниманием следили за ходом торга. Барикян потом напишет: сначала никто не ожидал, что хирург может торговаться с какой-то деревенской женщиной. И лишь потом... А потом было следующее. Заплатив пять рублей, Мирза-Авакян обратился к хозяйке дома:

— Ну, где мы сядем?

— А зачем это?

— Как зачем? Поросенок-то теперь наш. Вот мы и хотим угостить вас.

— Кого? — спросила протяжно хозяйка.

— Вас, кого же еще?

— Это моим поросенком угощать меня?

— Почему же только вас. Хозяина дома тоже. Кстати, где он? Куда он делся?

— А ему нечего тут с вами лясы точить. Человек он занятой.

Неожиданно в дверях появился коренастый хозяин дома с морщинистым лицом и жилистыми руками и громко сказал:

— Ну, а теперь давайте к столу.

И женщина расхохоталась. Стол был накрыт — давно такого не видели. Так вспомнит Барикян. Поели. Повеселились. Лишь здесь узнали, что гость их не какой-нибудь простой смертный, а знаменитый профессор. И еще узнали, что профессор не ест мяса. Он строгий вегетарианец.

Узнав об этом, хозяйка дома то и дело опускала глаза и причитала:

— Чтоб я ослепла! Что же я наделала! Это тебя, — обращалась она к мужу, — я послушалась. Что теперь о нас люди подумают?

— Ничего плохого не подумают, — успокаивал ее Мирза-Авакян.

А она все не могла уняться:

— Если не сейчас, то прежде, на дороге. Значит, обо мне уважаемый в народе человек подумал плохо. Чтоб ослепла...

Когда пассажиры снова отдались во власть подпрыгивающей на ухабах тарахтелки непонятной марки, Барикян произнес с досадой:

— Старуха причитала да казнила себя, а деньги взяла.

— Не надо о людях думать плохо, — спокойно сказал Арутюн Григорьевич. — Она незаметно сунула мне в карман злосчастную пятерку. Я обнаружил это еще в доме, только не хотел вида показать. Боялся, обижу. Не взяла бы она деньги. Я бы стал настаивать, и вечер испортился бы. О человеке надо думать хорошо...

\* \* \*

Саркис Григорян ворвался в кабинет хирурга, словно кто-то гнался за ним. Увидев, что хозяин его находится в одиночестве, он сделал несколько глубоких вдохов, стараясь быстрее отдышаться, и наконец выговорил скороговоркой:

— Зачем вы это сделали? Только теперь я понял, почему вы спросили меня, где изготавливают надгробный камень...

Арутюн Григорьевич медленно встал, вышел из-за стола. Подошел к окну, остановился. Поглядел привычно на улицу. Подошел к столу. Налил из графина стакан воды и поднес гостю.

— Выпей. Успокойся. И вообще, когда входят в кабинет, то здороваются.

- Вы всё шутите... — Саркис отпил глоток воды.
- Я не шучу.
- Здравствуйте, Арутюн Григорьевич! И объясните мне, пожалуйста, почему вы это сделали? Разве для этого я исповедовался вам. Признался, что хочу установить Ашхен надгробный камень.
- Саркис...
- Арутюн Григорьевич, зачем вы это сделали? Вы не должны были этого делать. Вы понимаете, я... я должен поставить камень на могиле Ашхен. Зачем вы заплатили? Я пришел рассчитаться, а мне говорят, что приходил высокий такой, представительный человек в шляпе и с тросточкой.
- Саркис, главное в том, что идея твоя, что камень стоит как память о нашей Ашхен...
- Как хотите, Арутюн Григорьевич, но деньги вы должны у меня взять!..
- Ты же знаешь, я этого не сделаю.
- Как же быть? Вы хотели сделать мне хорошо, а вышло наоборот. Это правда. Я же трудился только для этого. Вы должны взять у меня деньги. Поймите меня. Я должен иметь право сказать себе самому, что камень для Ашхен установлен мною. Поймите меня и простите!..
- Садись.
- Саркис сел в кресло, обтянутое белым чехлом. Он заметно волновался, не зная, куда девать руки. Мирза-Авакян взял стул и сел напротив верхом, облокотившись о спинку.
- Что же делать, Саркис? — как-то виновато спросил он, явно не ожидая такого оборота дела.
- Взять деньги и простить меня. У меня другого выхода нет.
- И тем не менее выход надо найти другой. Денег я у тебя не возьму.
- Я так не смогу жить, Арутюн Григорьевич.
- Тебе сейчас плохо, Саркис. Хочется отдать мне деньги и успокоить себя. Но обо мне ты подумал? Ведь тогда я буду страдать... У меня есть идея.
- Какая?
- Гениальная.
- Опять шутите.
- Не шучу.
- Пойдем в ресторан и на все эти деньги кутнем.
- Это же на целую свадьбу. А вы не пьете.

- Выпью.
- И мне нельзя.
- А почему это нельзя? Что это такое? Пьянствовать нельзя, а выпить можно.
- Но разве так решится дело?
- Непременно решится. Мне захотелось кутнуть. И непременно с тобой. Согласись, в любом другом случае я бы не позволил тебе рассчитывать. Пойми, Саркис, я не нуждаюсь в деньгах. Семьи своей у меня нет. Так уж вышло. И если я предлагаю, значит, это действительно выход.
- Согласен.
- И посвятим вечер нашей Ашхен. Будем пить за нее.
- И пойдем к Ашхен. Посетим ее.
- Да.

\* \* \*

Передо мной страницы из дневника двадцатилетнего Мартика Авдалбекяна, сына Тадевоса Авдалбекяна. Сохранилось только несколько страниц. Пожелтевших страниц. Судя по некоторым записям, можно догадаться, что писал он их в клинике. В клинике самого Мирза-Авакяна. «И все-таки мне повезло, что я выбрал парашютный спорт, а не автомобильный. Сейчас я лежу с переломом ноги. А если бы занимался автомобильным, то при аварии непременно сломал бы руки. И тогда я не смог бы продолжить мои дневники. Тогда я не смог бы написать, что к дяде Артему (так близкие звали Арутюна Григорьевича) приходил Егише Чаренц. Ковылял на костылях к кабинету дяди Артема, и оттуда доносился гомерический хохот. Смех был до того заразителен, что смеялись и мы, собравшиеся в коридоре. А было нас много. Больницу облетела весть, что к дяде Артему пришел Чаренц, и всем захотелось посмотреть на знаменитого поэта. Я его и до этого много раз видел, встречал на улице. Выступал он со стихами у нас в Политехническом. Но вот так, в непосредственной близости, я увидел его впервые. Когда он вышел, меня поразили его глаза. Они, казалось, искрились и излучали свет. В коридоре кто-то захлопал в ладоши. Все поддержали его. Хлопали как на концерте. Чаренц смутился и в сопровождении пожилого человека зашагал к выходу. Дядя Артем потом сказал мне, что поэт привел к нему какого-то незнакомого человека. Привел на консультацию. Он сказал мне, что Чаренц чуть ли не ко всем медицинским светилам ведет знакомых и незнакомых людей, причем сам их со-

провождает. Бывает, встретит на улице хромящего человека, остановит, поговорит и приведет к хирургу...» На других страницах молодой Авдалбекян не раз вспоминает Мирза-Авакяна, которого он считал своим вторым отцом: «Если бы в Ереване не было Арутюна Григорьевича Мирза-Авакяна, то город должен был бы сделать все, чтобы в нем жил этот человек. Иначе просто несправедливо...» В другом месте написано: «Я читаю в оригинале немецких писателей. Сам перевожу, помогаю отцу. И все же мне еще далеко до немецкого языка дяди Артема...»

В одном из писем самого Мирза-Авакяна я прочитал о Мартике: «У юного Авдалбекяна большое будущее. Незаурядный. Честный до фанатизма. Как бы ни сложилась его жизнь, я верю в торжество его уже оформившихся принципов». Мирза-Авакяну не суждено было узнать, как сложилась судьба многих детей его друзей, как не знал он конкретно о судьбе Мартика.

Во время войны Мартик ушел на фронт добровольцем. Часть оказалась в окружении, и он попал в плен. Немцы узнали, что Мартик свободно владеет немецким. Предложили сотрудничество. Авдалбекян отказался, и его расстреляли. Об этом написано в официальных документах.

\* \* \*

Кафе «Турист». За «губернаторским столом» сидели Рачья Ачарян, Тадевос и Хачатур Авдалбекяны, Арутюн и Левон Мирза-Авакяны, Самсон Габриелян. С ними был и Саркис Григорян. Юбилейная дата. Прошло десять лет с того дня, как Арутюн Мирза-Авакян провел свою знаменитую операцию. Тогда возбужденный молодой Самсон Габриелян предложил собраться через десять лет и отпраздновать юбилейную дату. Никто всерьез не воспринял эти слова. Мало ли что мы можем предложить в минуту возбуждения... И вот десять лет спустя Габриелян решил собрать тогдашних завсегдатаев в кафе.

— Десять лет прошло с тех пор, — начал торжество Рачья Ачарян, — мы постарели на семьдесят лет.

— Как? — удивились присутствующие.

— А что? Нас семь человек. По десять лет, — сказал Ачарян. — Много воды утекло с тех пор. Много книг написано. Но среди нас за это время настоящим делом занимался только Самсон.

— Что это за дело? — спросил Левон Мирза-Авакян.

— У него за это время сын родился.

Все засмеялись. Кто-то предложил вне очереди выпить за Габриеляна и его сына Эмиля.

— Выпить-то можно, — засмеялся Левон, — однако мы не виноваты, что наши сыновья родились до операции.

— Самозванцев нам не надо, тамадой буду я, — сказал Ачарян. — И никаких возражений. По праву старшинства. А посему предлагаю тост за Саркиса. Он главный герой. Он выжил. Дожил до сегодняшнего дня и дал нам возможность собраться здесь вместе.

Выпили за Саркиса Григоряна, потом за Арутюна Григорьевича, который сказал ответное слово и за Саркиса, и за себя.

— Одно меня сейчас гложет, — сказал Мирза-Авакян. — У меня такое чувство, словно мы не имеем права нынче веселиться.

— Это почему же? — спросил Тадевос Авдалбекян.

— Не знаю, как и сказать. Что-то непонятное творится...

— Нет, надо веселиться! — воскликнул Хачатур. — Надо! Что бы там ни творилось кругом, надо веселиться. Я верю, что речь идет только об издержках, о недоразумении. Не больше...

Из воспоминаний Самсона Габриеляна узнал я, что тот вечер продолжался довольно долго. Спорили до хрипоты. Особо запомнилась мысль, высказанная Арутюном Мирза-Авакяном: «А мне кажется, что это довольно легко исправить, если внять совету великого Вольтера: “Я не разделяю вашей точки зрения, но готов отдать жизнь за ваше право ее высказывать”».

\* \* \*

Дверь открыла Маро Григорьевна, сестра Мирза-Авакяна, красивая статная женщина с большими выразительными глазами. Она еще в прихожей помогла снять пальто раннему гостю.

— Вы уж извините меня, Левон Андриасович. Я вынуждена была...

— Да как вы можете? А кто же, если не я... Я бы даже оскорбился... Ну как он?

— Вроде немного успокоился. Ну, пойдете.

Мирза-Авакян лежал в своем кабинете. Трудно определить, какого цвета были его стены. До самого потолка возвышались полки с книгами. Они были повсюду: на шкафах, на подоконнике.

— Вы уж извините, Левон Андриасович, — сетовала сестра, — этот упрямый карабахец не разрешает мне убирать в кабинете.

— Правильно делаю, — улыбаясь сказал хозяин, — от вас, женщин, добра не жди. Если и окажете услугу, то непременно



медвежью. После твоей уборки мне нужен будет другой кабинет, чтобы там начать сначала.

— Ну ладно, — вмешался в разговор Левон Андриасович. — Ты лучше скажи, что с тобой случилось?

— А! Со мной ничего. Это Маро запаниковала.

— Ничего себе — запаниковала, — сказала Маро, — ночью задышаться стал. Корчился от боли. Искал в кабинете какие-то лекарства. Я удивилась, что нашел. Раз были эти лекарства, значит, сердце у него и раньше побаливало. А мы дома ничего об этом не знали.

— Лучше бы и сейчас не знали.

— Нет, Арутюн-джан, придется тебе вести себя как пациенту и рассказать поподробнее. Давно это у тебя?

— Что «это»?

— Хватит шутить. Я спрашиваю про сердце.

— Сердце не камень, Левон.

— Разумеется, сердце не камень. Камень — ерунда. Камень боится ударов. А сердце...

— А сердце боится слова... Ты, Маро-джан, лучше нас оставь одних. Я почему-то неловко себя чувствую в роли больного.

Маро машинально поправила подушку и одеяло и молча вышла.

— И все-таки давно это у тебя? — спросил Левон, слушая сердце друга.

— Не так уж давно. Но время от времени я чувствую его.

— Ты изнашиваешь себя в операционных. Теперь уже стал разезжать по районам. Не дыши... пожалуйста. Дыши.

— И ты знаешь, чаще всего схватывает по утрам.

— Скажу тебе, чтобы ты был осторожен: беда чаще всего случается по утрам.

— Странно, почему? Ведь, казалось, после сна... После покоя...

— Тех, кто ушел в мир иной, уже не спросишь, как они провели свою последнюю ночь. Думаю, с мучениями и без сна.

— Как я сегодня.

— Не будем сравнивать. И вообще не о том мы говорим.

— Скажи, Левон, что ты там нашел?

— Ничего особенного. Тебе просто нужно отдохнуть. Покой нужен.

— Мне?

— Да, тебе. Собственно, ничего удивительного. День и ночь пропадаешь в больнице.

— А ты не пропадаешь?

— У меня другое. У тебя... Сам же говорил, что во Франции с двенадцати часов ни один профессор не принимает.

— Уж не думаешь ли, что они уходят из клиники на пикник? Они уходят в свои лаборатории. Они — ученые. И не меньше нашего страдают грудной жабой. У них просто порядка больше, хлопот меньше.

— Ну что ж, будем считать, что ты сам поставил себе диагноз: грудная жаба.

— А я давно это знаю.

— Знал и молчал?!

— Почему молчал? Разговаривал со своим сердцем. Бывало, спорил с ним. Даже стыдил: мол, как ты можешь так подводить меня... Ведь в день я иногда делаю по шесть операций. Это шесть человеческих судеб. А оно в ответ начинает работать с перебоями, будто говорит: «Надо и обо мне, о сердце, тоже подумать. Не выдерживаю я таких нагрузок. По десять часов не знать отдыха за операционным столом». А у меня другого выхода нет. Я по-другому не могу.

— Отныне придется найти выход. По крайней мере, я настаиваю.

— Левон, вот что я тебя попрошу. Не говори в городе о моей болезни. Я даже настаиваю. Пойми. Есть нечто противоестественное в словосочетании «больной врач». Такому и доверия меньше. А если веры нет, то лечение у больного не пойдет как нужно.

— Настала пора подумать немного и о себе.

— Такой поры никогда не должно наступать. И я скажу тебе, что в недугах хирургов виноваты и вы — терапевты.

— Ну, спасибо.

— Я серьезно. По-прежнему мы не понимаем друг друга. По-прежнему вы передерживаете больных, не посылаете к нам вовремя...

— Захлебнуться хочешь. Сам говоришь — до шести операций в день. И еще хочешь, чтобы тебе прибавили.

— Не мне. А ее величеству хирургии. Я, кстати, могу делать и больше шести. Вон де Мартель за три часа сделал тринадцать довольно крупных операций, в том числе резекцию желудка и удаление матки. И все удачно. А знаешь, почему? Потому что всегда много работал. Бетховен говорил: «Если не упражняюсь один день, то замечаю я. Если — два дня, то замечают друзья. Если — три дня, то замечает публика». А разве рукоделье хирурга — это не то же, что исполнительское мастерство музы-

канта? Только если там, как говорит Бетховен, замечают друзья да публика, то здесь страдают люди. Вот почему я стал разъезжать по районам. Я должен дать возможность оперировать моим ученикам, что бы ни говорили, но главное — это много оперировать. Другого критерия для хирурга нет.

— А как же дальше будет? Мы с каждым годом выпускаем все новых и новых врачей, в том числе и хирургов. Число их растет. Значит, соответственно на каждого перепадет меньше, чем сегодня, чем вчера.

— Это меня и тревожит. Можно иметь больше плотников и больше каменотесов, больше преподавателей физкультуры, больше, ты уж извини, даже терапевтов, но хирургов можно и нужно иметь лишь оптимальное количество. Лишь столько, сколько нужно.

— Но ведь из большого количества можно сделать выбор.

— Да. Но как быть с теми, кто числится в хирургах, а сам ни сердцем, ни пальцами не является им, и тем не менее продолжает оперировать, продолжает считать себя врачом. Тут ведь и другое. Такие, приноровившись, с годами берут себе на стол лишь так называемые легкие случаи, идут лишь по проторенным дорогам. И у таких, может быть, и смертности меньше. А тяжелый случай идет к настоящему хирургу. Смертности же больше именно от тяжелых случаев. В отчетах же фигурируют только сухие цифры. У такого-то столько летальных исходов, у такого-то столько. И сравнивают. Что же касается состояния здоровья хирурга, да и не только хирурга, а любого нашего современника, то, думаю, дело тут вовсе не в нагрузке. От нагрузки люди только молодеют.

— А в чем же?

— Неужели не видишь, что творится вокруг? И ведь знаю, что потом будут винить время, а не современника... Я посчитал, четырнадцать близких мне людей забрали. Всех — после полуночи. Никаких объяснений. И словно ничего не происходит в Ереване.

\* \* \*

Вахтер с пышными усами с трудом сдерживал натиск разгоряченных шумливых родственников. Точнее — это были родственники одного больного, геташенца Рафика Джагаряна, студента пединститута. Рафик упал во время соревнования по плаванию. Ударился головой о край тумбы. Повреждение кости черепа. Весть об этом вмиг долетела до Геташена, и вот многочисленные родные и близкие штурмовали больницу.

— Да тише вы, антихристы! Там же наверху идет операция, — придерживая плечом дверь, говорил вахтер.

А там наверху шла операция — трепанация черепа. Оперировал Мирза-Авакян. Оперировал, как всегда, молча. Только время от времени давал четкие команды. В операционной стояла тишина. Хирурги по-разному ведут себя во время операции. Одни тянут какой-то нехитрый мотив под нос, другие нарочито и как-то подчеркнуто бранятся с ассистентами и сестрами. Мирза-Авакян, казалось, отключался. Он весь был занят собственными мыслями. Иногда, бывало, рассуждал вслух. И к этому тоже привыкли его помощники.

— И немудрено, что получил повреждение черепа, — сказал Арутюн Григорьевич, готовя операционное поле. — Двухметрового роста, и вес небось больше ста килограммов. Богатырь, и только.

— Он чемпион по плаванию, — заметил кто-то из помощников.

— Салфетку! — скомандовал Мирза-Авакян, и наступила традиционная тишина.

«Вот если бы все были такими у нас, как этот парень. Былинный герой. А то ведь порой жуткое впечатление мы оставляем. Враг вырезал не только миллионы, но и красоту тоже... Сейчас еще ничего. Я приглядываюсь к людям. Возрождается не только нация, но и красота ее. Природа берет свое».

— Спирт! Салфетку!

«...Черт! Сердце опять покалывает. Это после вчерашней беседы. Спрашивает: о чем говорили с Арменом Ананяном, когда лечил его. О чем же врач может говорить с больным? Я ему говорю, мы беседовали о Пушкине, — не верит. А мы действительно говорили и о Пушкине тоже. Я еще сказал Ананяну: мол, все считают Пушкина только великим поэтом и писателем. А ведь это был великий мыслитель. И каждая его мысль — это россыпи. И я привел такой пример: “Уважение к минувшему — вот черта, отличающая образованность от дикости”».

— Шприц! Новокаин!

«...В последнее время то и дело слышишь разговоры о том, что сыновья и без отцов растут и выходят в люди. Но это лишь хитроумное самоуспокоение. Самооправдание. А кто скажет, что такие сыновья, выходя в люди, бывают поистине мудрыми... Сердце болит...»

— Иглу потолще!

«...Не могу забыть последние слова Чаренца при последней нашей встрече: “Если мы и сейчас потеряем всяческую веру, то это уже будет конец”. Наверно, я первый, кто считает Егише настоящим классиком. По крайней мере, не далее как вчера внес его слова в тетрадь, куда обычно записываю мировых мыслителей: “Если я свою творческую деятельность психологически ограничу рамками национальной замкнутости, сколь жалок будет ее диапазон и сфера влияния...”»

— Скальпель!

«...Неужто во все времена были наветчики, анонимщики, клеветники, доносчики? Бедное человечество! Как тяжело приходилось тебе в веках! Это мы, врачи, виноваты. Продлевая жизнь человеку, мы тем самым продлеваем и жизнь клеветника... Как же здорово ударился этот богатырь! Чудом спасся... Но спасся ли?»

— Шарики! Зажим!

«...Все винят время. Уже вместо приветствий стали друг другу говорить, мол, ничего не поделаешь, время нынче такое. Что это за время такое? Все, оказывается, виноваты. Даже время. Все, только не мы сами. Современники. Нам предлагают готовую истину, и мы говорим — это истина. Кант бы сошел с ума от такого подаяния. Это он сказал: «Если бы мне предложили на выбор путь к истине или саму истину, я бы выбрал путь к истине...»

— Зажим!

«...Кажется, все будет хорошо. Интересно бы проследить потом путь этого парня. Его путь к истине...»

— Капли на сахар!

— Что?! — громко спросила медсестра.

— Капли. Мне. Под язык... Еще зажим!

«...Детей нет. Раньше не очень об этом подумывал. Это все сердце. Хоть племянник мой стал бы врачом. Тоже ведь Мирза-Авакян. И в нем частица моя. Мирза-Авакяновская... Никак не могу привыкнуть к каплям с сахаром. Не терпится. Хочется проглотить и избавиться от этого инородного тела во рту.»

— Распатор!

«...Это великий Месроп Маштоц, да простит он меня, виноват, что есть у нас анонимщики... Нет, конечно, Месроп Маштоц не виноват. Я знаю, что творится сегодня в огромной стране. Все те же наветы и доносы, но на разных языках, разными алфавитами...»

— Кусачки! Зажим москит.

«И все-таки все будет хорошо. И у этого богатыря тоже...»

— Кетгут! Эмма, ты заканчивай. Будь внимательнее.

— Хорошо, Арутюн Григорьевич, — гордая доверием, сказала ассистентка Эмма Мартикян. — Я завершу, тем более что вы уже почти все сделали. Вы размывайтесь.

Мирза-Авакян отошел от операционного стола. Остановился. От него не отходили его многочисленные коллеги, в сопровождении которых он, шатаясь, добрался до своего кабинета.

— Оставьте меня одного, — тихо сказал он.

Все вышли. Мирза-Авакян сидел в глубоком кресле и молча смотрел на окно. Невольно вспомнил кафе, в котором он встречался с друзьями. Никого почти не осталось. Нет, не время виновато!

Неожиданно раздался стук. И сразу же в дверях показалась маленькая сухая женщина со светлыми глазами. Она была одета в традиционный карабахский хлег. Женщина, не дождавись приглашения, подошла к хирургу. Наклонилась, взяла его руку и прижалась к ней мокрыми и солеными от слез губами.

Мирза-Авакян догадался, что это мать оперированного. И он тихо сказал:

— Будет жить. Он у тебя, мать, настоящий герой.

И здесь не ошибся хирург, которого современники считали пророком. Рафик Джагарян уже через два года после той операции воевал в финскую кампанию. О бесстрашном воине писали фронтовые газеты. Чудеса героизма совершал Рафик и в годы Великой Отечественной войны, за что был представлен командованием к званию Героя Советского Союза. Сам хирург не знал, что это была его последняя операция. И датирована она в истории болезни 14 июля 1937 года...

\* \* \*

Последняя операция. Это не просто последнее хирургическое вмешательство, которому предшествует последний предоперационный период. Это — последнее колдовство, связанное с целой церемонией мытья рук хирурга. Это — последняя страница его биографии. И мне очень захотелось, презрев мистику, еще раз постараться хоть самую малость «разговорить» великого хирурга, который не знал, что Рафик Джагарян будет его последним пациентом.

— Я часто задумываюсь над этим самым словом «последний» — начал я. — Последний шаг в жизни. Последняя спич-

ка, которую ты, чиркая, зажег. Последний глоток воды. Последний ломоть хлеба. Последнее слово, сказанное тобой. Как правило, никто такого факта не фиксирует. Можно, наверное, узнать, какой последний ход сделал великий чемпион мира Александр Алехин, ибо он умер за шахматной доской. Можно, думается, определить, какую последнюю ноту или слово озвучил великий оперный певец Марио Ланца, который умер на сцене. Кстати, о таких говорят, «умер как жил». Но вот история сохранила имя человека, которого вы, Арутюн Григорьевич, оперировали. Однако вам не дали возможность вести послеоперационный период, который не менее важен нежели предоперационная пора или даже сама операция.

— У меня у самого много было этих самых «последних». По крайней мере, до последней минуты я был в сознании. Так что помню даже последнюю мою минуту. Тут дело в другом: тогда я хорошо знал, что каждый мой день мог бы быть последним днем свободы.

— А какое у вас в те дни было ощущение времени?

— Это было время, когда ты чувствовал, как с каждым днем круг друзей и единомышленников суживался. Об этом я часто говорил с братом моим Левоном.

— Я знаю. Левон в свою очередь рассказывал об этом своему сыну Гоге — Григорию Мирза-Авакяну, который стал известным хирургом, даже — главным хирургом Министерства здравоохранения Армении. Кстати, без Гоги я не смог бы вести с вами этот диалог, как не смог бы вообще написать эту документальную повесть.

— Так вот об ощущении. Когда взяли Тадевоса Авдалбекяна, а затем и Егише Чаренца, то мне как-то стало неловко от сознания того, что я не с ними. Что я нахожусь в каком-то другом списке.

— Левон Мирза-Авакян рассказывал, что вы не хотели бы оказаться в списке «Они».

— По правде говоря, я знал, что рано или поздно за мной придут. Даже боялся, что возьмут меня прямо во время операции. К счастью, я ошибся. Люди, которые пришли за мной, молча и терпеливо ждали в коридоре. Они дождались, пока я «размоюсь» и выйду из операционной. Их было три человека. Двое молодых, один постарше, седой. Говорили, не глядя мне в глаза. Я чувствовал, что им не так уж легко выполнять приказ начальства. Они всю дорогу молчали и в машине. Позже оказалось, что я когда-то оперировал родственника этого седого.

А через неделю мне сказали, что оперировал еще и жену начальника охраны. Так что я чувствовал себя нормальным человеком только тогда, когда меня, скажем, сопровождали от камеры до места, где допрашивали. Разговаривать запрещалось. Но я в глазах охранников видел их доброе отношение ко мне. А вот когда меня допрашивали, то я удивлялся тому, что есть люди, которые меня так страшно ненавидят. Это было так непривычно для меня. Их бесило все, что вообще связано со мной. Больше всего бесило то, что я за рубежом общался с иностранными коллегами, читал лекции, делал доклады. Бесило и то, что в друзьях у меня ходили братья Авдалбекяны, Егише Чаренц, Аксель Бакунц, Самсон Габриелян, Рачия Ачарян и многие другие.

— У меня такое впечатление, что вы накануне своей смерти, глядя на этих палачей, разочаровались в нашем народе...

— Ничего подобного. К нашему народу относились имена, которые я уже перечислил. Мы просто имели дело с диагнозом. С некоей эпидемией. Всю жизнь я гордился, когда меня называли хорошим диагностом. Вот и тогда, думаю, было за что меня хвалить. За точно поставленный дифференциальный диагноз.

— И как называется эта болезнь?

— Цезарепапизм...

— Насколько я понимаю, это — идолопоклонство, обожествление Цезарей и Пап... Никита Хрущев спустя девятнадцать лет после вашей смерти назовет этот диагноз «культом личности».

— Это — нечто большее, это — нечто пострашнее, чем культ. Это то, что одновременно оскорбляет и оскверняет как человеческую личность, так и самого бога.

— Когда вы поняли, что спасения вам не будет?

— Во время одного из допросов, когда самый главный начальник, узнав о том, что я очень брезгливый человек и что у меня аллергия и фобия к грязи, к сырой тряпке, к грязной посуде, устроил мне нескончаемую пытку. Как-то принесли мне миску пересоленной пшенки с двумя большими кусками очень соленой селедки. Я, правда, не съел до конца. Но все же покушал. Вскоре началась жажда. Я попросил воды. Мне принесли воду в ужасно грязной алюминиевой кружке. Я отказался пить.

— И что же было дальше?

— Я не хочу вспоминать об этом.

— Мне рассказывали, что вас заразили дизентерией.

— Это только, к счастью, приблизило конец моих мучений.



\* \* \*

Впервые я писал о Мирза-Авакяне в 1980 году. Архивные материалы давал мне племянник великого хирурга Григорий Мирза-Авакян. Тогда же мне стало известно, что Арутюна Григорьевича специально не водили в уборную, которая находилась во дворе. В камеру ему занесли парашу. И он вообще перестал есть, перестал пить из грязной кружки.

Я спросил моего «собеседника»:

— Но ведь в охране находился человек, который к вам относился хорошо и вы могли бы попросить его, чтобы он хотя бы принес воду в чистой посуде?

— Я не хотел его просить об этом. У меня другая просьба была к нему. Чем хуже становилось мне и чем ближе была смерть, тем спокойнее становилось мне и тем сильнее хотелось написать письмо брату. Еще на воле мне было известно, что трупы «врагов народа» не отдавали родным и близким. Что у «врагов народа» не бывает своих могил. Знал и о том, что родственники «врагов народа» не получают весточек от них. И хорошо знал, что только этот человек из охраны мог отнести письмо брату. Подумал и о том, чтобы этот человек вдруг не пострадал. Для этого я должен был написать письмо так, чтобы в нем ничего опасного для него не было. Даже цитировал Ленина. В те тяжелые минуты думал я о будущем нашей молодежи, о том, что память наша — это связь не только с прошлым, но и с будущим. Брат мой Левон должен был знать, что умираю только и только от сердца. И больше ни от чего. Это он уже не от меня узнал о дизентерии, о вынужденной голодовке. Он должен поставить на ноги своего сына, который носил имя нашего отца — Григор. Это значит, имя нашего отца в его внучке должно было обрести бессмертие. Вот я и не хотел, чтобы маленький Григор Мирза-Авакян рос с ненавистью в сердце. Я не хотел, чтобы в душе у мальчика таилась обозленность на весь мир. Я умирал, сознавая, что если уж они взяли делить народ на своих и чужих, на врагов и патриотов, на «мы» и «они», то должен признаться, что все-таки я им не сдался. Я победил их. А это значит, жертвой являемся не мы. Жертвой являются они.

\* \* \*

Записку нашли в почтовом ящике. Только потом выяснилось, что принес ее один из бывших пациентов Мирза-Авакяна. Она была адресована брату. «Дорогой Левон! Сердце мое,

как и душа моя, работает с перебоями. Живой во мне осталась лишь память, связывающая прошлое с настоящим. Мой друг Левон Оганесян часто повторял: “Сердце — не камень”. Теперь я точно знаю, что действительно сердце — не камень. Оно крепче камня. Свидетельство тому — в жилах моих еще течет кровь. Даже когда оно остановится, я не буду в обиде на него. Оно служило верой и правдой. Служило добром и добротой. Знай, что земля наша вертится на оси, имя которой ДОБРОТА. И я очень хочу, чтобы доброта была вечным спутником твоим и всех наших родных. Пусть сын твой вырастет добрым. Дети могут вырасти обозленными. И тогда не буду я знать покоя. Память — не только связь времен. Она перекидывает мост и в будущее. А там я вижу большое яркое солнце. Солнце доброты. Великий Бетховен не знал иных признаков превосходства, кроме доброты. Я верю в поколение твоего сына. Я вижу в моих юных согражданах невероятное желание быть настоящими патриотами, презирающими тех, кто заигрывает с народом, кто играет в патриотизм, кто спекулирует этим высоким чувством.

Я верю, растет поколение, которое будет больше нашего презирать грубую силу и патологическую страсть к господству. Именно к таким явлениям нельзя быть равнодушным. Именно об этом писал великий Ленин, подчеркивая, что равнодушие есть молчаливая поддержка того, кто силен, того, кто господствует».

Не было такого дня, чтобы я не вспоминал моего пациента и друга Саркиса Григоряна. Но больше всего страдаю от того, что уже не сумею проследить за жизнью человека, чье сердце я держал в руках десять лет назад. Каждый прожитый им год я воспринимаю, как песню. Как гимн скальпелю, хирургии, медицине. Ведь жизнь его и сердце его так нужны мировой медицинской науке. Сегодня на несколько минут заснул к утру. И видел во сне, как держу в руках трепетно бьющееся сердце Саркиса. Подумал, что и впрямь сердце не камень.

\* \* \*

Из рассказа кладбищенского сторожа Маркоса-папика. Его все так и звали — Маркос-папик.

— Каждый день, в зной и в стужу, приходил сутуловатый человек с огромной черной с проседью бородой. Его звали Саркисом. Он молча проходил мимо каменных рядов к могиле с двумя мраморными плитами. Вторую плиту установил он сам. На ней были написаны имя, фамилия и отчество мужчи-

ны. Помню, фамилия была двойная с черточкой в середине. Даты рождения и смерти там, точно помню, не было. И вот что чудно: я точно знал, что никаких похорон не было, просто установили надгробие и все. Я это точно знал, как и то, что Саркис часто приходил и подолгу сидел у двух надгробных плит. Потом началась война, и больше я не видел этого человека. После кладбище перенесли на другое место, и следов от тех могил не осталось. Исчезли могилы — исчезли и люди. Камни все растащили. Ведь даже у камня память не вечная, — философски завершил свой рассказ Маркос-папик.

Старик, конечно, прав. Камень не сохранил память о человеке. Но она сохранилась в сердцах у людей. Ведь сердце — не камень.

\* \* \*

Р. S. Саркис Григорян пережил своего спасителя на двенадцать лет. Не раз его предупреждали и страшали за то, что он без конца прилюдно добрым словом вспоминает «врага народа». В 1949 году Саркиса, страдающего сердечными приступами, вместе с большой группой космополитов, бывших военнопленных, интеллигентов-перерожденцев сослали в Алтайский край, где в первый же день остановилось его сердце.